

ИНТЕРПОЭЗИЯ

Международный журнал поэзии

2025, избранные тексты выпусков 76–79



Нью-Йорк – Москва

Главный редактор и издатель: Андрей Грицман (*Нью-Йорк*).
Соредактор: Вадим Муратханов (*Москва*).

Редакционная коллегия: Лилия Газизова (ответственный секретарь, *Кайсери*), Александр Вейцман (секция переводов, *Нью-Йорк*), Олеся Цай (PR-координатор, *Ташкент*), Марина Эскина (*Бостон*), Дмитрий Тонконогов (*Москва*).

Редакционный совет: Владимир Гандельсман, Марина Гарбер, Юлий Гуголев, Владимир Салимон, Лариса Щиголь.

ISSN № 1554–9313 Электронная версия
ISSN № 1554–9305 Печатная версия

© Авторы, тексты

© Интерпоэзия, состав и оформление

ИНТЕРПОЭЗИЯ — международный журнал лирической поэзии, основан в 2002 г. Мы публикуем стихи, переводы, короткую прозу («стихопрозу»), эссеистику, интервью, дискуссии и отзывы о новых книгах и журнальных публикациях. Журнал ежеквартально выходит в электронной версии на сайте interpoezia.org; по итогам года выпускается бумажная версия с избранной поэзией, прозой и эссеистикой.

Наш журнал — это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства. Наши времена — потерянности в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем зарубежье. Сведение под одной небесной крышей поэтов и редакторов из разных стран сегодняшнего обитания поможет найти общий поэтический язык.

Адрес редакции:

Interpoezia, Inc.
80 Crain Road
Paramus, NJ 7652
USA

Электронный адрес: editor_interpoezia@hotmail.com

Все материалы в редакцию рекомендуется отправлять по электронной почте.

Просьба присылать не более 10 страниц текста с краткой биографией. Большие объемы редакция не рассматривает.

При отправке переводных рукописей обязательно предоставление оригиналов переведенных произведений.

Рукописи не рецензируются.

Авторские права передаются авторам после публикации. Все материалы опубликованы с согласия авторов. Просим при перепечатке наших материалов ссылаться на источник.

Информация об авторах, не представленная в печатной версии журнала, доступна на сайте «Интерпоэзии» — в списке авторов (<https://interpoezia.org/authors>) и непосредственно на странице с публикацией материала.

Журнал можно приобрести:

Нью-Йорк: в нью-йоркской редакции журнала
editor_interpoezia@hotmail.com

Москва: в магазине «Фаланстер», ул. Тверская, д. 17;
в московском отделении редакции у Вадима Муратханова
khanmurid@mail.ru

Ташкент: у PR-координатора журнала Олеси Цай
olesyatsay@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Александр Радашкевич ОКОННОЕ КИНО	11
Евгения Джен Баранова ДУША — ПЕСОК.....	15
Александр Габриэль БЕЗВРЕМЯ.....	19
Аман Рахметов ВТОРОЕ СОЛНЦЕ	21
Мирослава Бессонова ЧТОБЫ СЛЕД ПРОСТЫЛ.....	28
Александр Правиков БЕДНЫЕ РИФМЫ	33
Олеся Цай СТЕРТЫЙ ЛАСТИКОМ ПОСЕЛОК. <i>Фрагменты</i>	38

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Саид Янышев ДВА РАССКАЗА.....	45
---	----

ПОЭЗИЯ

Александр Кабанов ЗАВЕРШЕНИЕ ИСХОДА	61
Наталья Резник СЫРАЯ ВОДА.....	70
Дмитрий Тонконогов ИЗ КНИГИ «УМНОЖИТЬ НА ДЕСЯТЬ».....	74
Мария Игнатьева В ТИСКАХ НЕВЕДОМОГО ЧАСА	79
Игорь Иртенев ХОРОШО ЖИЛОСЬ НАМ ПРИ ЦАРЕ	83
Михаил Шерб ЯГОДА-СМЕРТЬ	86
Сергей Золотарев ФАНТОМ-МАНЕКЕН.....	90

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Александр Вейцман НАБОКОВ В КОРНЕЛЛЕ	97
--	----

ПОЭЗИЯ

Татьяна Вольтская ИЗ ЦИКЛА «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ».....	113
Борис Фабрикант СМЕРТНЫЙ ПОЛК.....	121

Ася Аксенова ДЕВА ВОЙНЫ	123
Евгений Сливкин ПОСЛЕ БИТВЫ	126
Андрей Фаицкий ОТМЕНЕННЫЕ ВЕЩИ	131
Александр Немировский ПОКА ДЫШУ	136
Юлий Хоменко ЗИМНИЙ ПУТЬ К ШУБЕРТУ	138

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Вадим Муратханов ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.....	145
---	-----

VERBA POETICA

Лилия Газизова МАЙ ЖИВЕТ В ЛЕВОМ КАРМАНЕ <i>Детские верлибры. Вступительное слово автора</i>	151
Николай Титков ДОЖДИК ШЕЛ, СМЫВАЯ МЫСЛИ <i>Публикация и вступительное слово Вадима Муратханова</i>	155
Евгений Абдуллаев ОТ «ЗАДОНЩИНЫ» ДО ВАСЯКИНОЙ <i>О новой «Истории русской поэзии»</i>	161

ПЕРЕВОДЫ

Наталья Гинзбург

МОЕ РЕМЕСЛО

Перевод с итальянского Ирины Фейгиной 175

Кшиштоф Шатравский

МЕЧТА О ТИШИНЕ

Перевод с польского Евгении Добровой 189

Ури Цви Гринберг

ИЗ ЦИКЛА «СМЕРТЬ — ТЫ ВЕЧНЫЙ ВЛАДЫКА И ВРАГ»

Перевод с иврита Алины Лацинник 195

Томас Венцлова

К НЕРОДНОЙ РЕЧИ

Перевод с литовского Марины Войцкой 200

IN MEMORIAM

Петр Горелик

О ДАВИДЕ САМОЙЛОВЕ

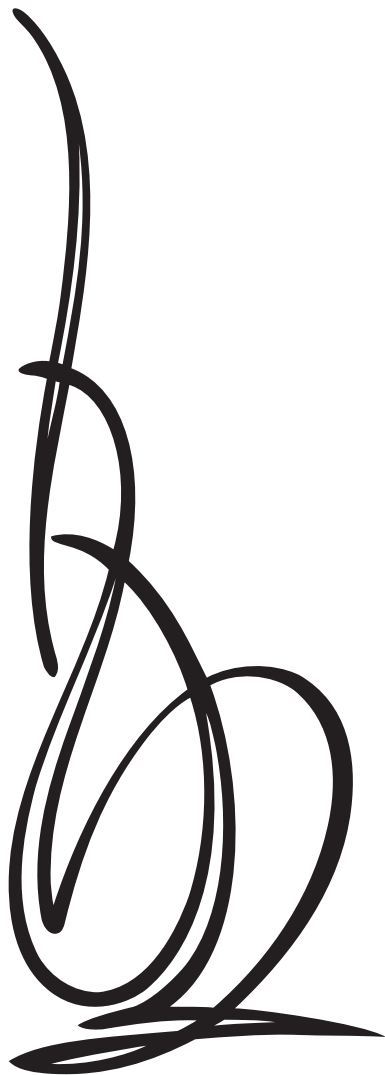
Публикация и вступительное слово Андрея Грицмана 207

Семен Гринберг

ИЗБРАННОЕ

Вступительное слово Алекса Тарна 221

ПОЭЗИЯ



Александр Радашкевич

ОКОННОЕ КИНО

ПАМЯТИ ДАНИ

*пусть пройду я незамеченным
все одно уйду не сломан
и живу неонемеченный
не расставшись с русским словом*
Даниил Чкония

И вот блеснула детская улыбка и солнышко грузинское в глазах совсем не там, но, уж конечно, тем, стихи укрылись лунной пылью, и голос грешным ветром растворился в никем не чаемых краях. Как в германских гравюрных ландшафтах или в замках змеистой Луары, ты снова станешь лучшим гидом в тех атласных сквозящих лугах, светло вещающим на чистом, на бывшем русском языке. И вот уж с хлюпкого паромика живых шлю и тебе, мой поздний брат, поклон разминовенья. И пусть вокруг долдонят вдруг о смерти, но тебе она, нет, не к лицу, хоть место, где ты жил в душе, теперь болит, болит.

ПРОЩАЯСЬ С КОРФУ

Все начинается морем и обрывается в нем той волною бирюзовой, что качает небеса. С ликом ангела, сердцем паяца мы являемся тут обомлело, и смываемся — с наоборот. Все тут немо, безгранно и ясно, так и звери святые живут. На горе зелено-бурой вековечный монастырь, где иконка незлатая кротко

выкликнет тебя, где они такое знают, что не скажут никому, даже если под обрывом не сокрыто облачками ионическое дно, и оттуда, не мигая, архаические боги смотрят каменно в глаза. Здесь спит корабль одиссеев в гребешках араукарий, обращенный в скалу прогневленным Посейдоном, льнут ручные облака, закипая по лощинам, и античное юное небо пронзили пики кипарисов, здесь мнится вид лазорево надмирный, что так ждал тебя веками за сизой рамою разменянной души. Мы сошли сюда незвано и непрошено пройдем, не успев и обернуться на обратный звездопад, и останется лишь это — голубое, никакое, что любило и тебя.

БАССЕЙНЫЙ РОМАНС

«Руками делай так, ногами эдак. Дышала чтобы в ритм, не напрягая шею. Теперь уж поняла?» Она преусердно кивает, в лупоглазых очках и желтой цыплячьей шапочке, и чем больше она старается, умножая судорожно-неверные движения и нелепые рывки, тем быстрее идет ко дну. Он дрессирует ее всякий день, следит сквозь белые очки издали, как она истошно бултыхается, выныривает, криво хватая воздух, и неизменно тонет. И даже когда его нет, она прилежно следует всем назиданиям незримым довольного супруга, шлепая пухлыми ладонями по воде и пуская отчаянные пузыри, и в самом последнем из них заключено ее повинное «люблю». А судьбы островами проплывают навстречу и мимо, и ты успеваешь приметить их пальмы иль голые скалы, их обезьян и синих попугаев, серые льды иль набухшую лаву, их минареты и альказары, шквалы младости кудлатой или бренности рыхлый провал, чтоб миновать их пленный ветер в пенном скольжении необратимом, в череде пересечений по кругу непреложного возврата.

СИЦИЛИЙСКАЯ ОСЕНЬ

Вот и снова сладко будит поутру хохотливый
 гогот чаек на рассветных чешуйчатых кровлях,
 море в размывах сиренево-сизых, сопричастных
 главным снам. Это будет Мадзара-дель-Валло, где
 янтарные стены курчавит сицилийское барокко,
 где с прядями по ветру сквозь века танцующий
 сатир, приоткрывший бронзовые губы в стылой
 истоме дионисийской, а потом, а сейчас, а всегда,
 как гнездо на отвесной скале, — поднебесная сказка

Эриче, где вспоминаешь, что пернатый, под зубастыми
 стенами замка Венеры, где так вдумчиво вкушаешь
 генуэзские томные лакомства у синьоры Марии
 Грамматико, сквозь рваное облако спускаясь горними
 кругами к коврам оливковых долин вдоль свинцового
 позднего моря, залитого солнцем пунцовым. Это буду
 я (который?), ты да небо наливное в славе пламенных
 закатов, голубая антиосень, как прильнувшая волна,
 птицы счастья вечным хором млечно будят поутру.

ОКОННОЕ КИНО

Две курочки клюющие и важный петушок, забор с подсолнухом,
 щетинистое солнышко и тюлевые облачка, проеденные молью. Уж
 тридцать пегих зим и пенных лет не меньше меня разглядывает вчуже
 забытое окно напротив в ущельном переулке Куртуа, ведя годам отсчет
 обратный и забывая про себя. Когда-то мелькнули там две итальянки,
 слушая нечто мандалинно-лагунное, но больше никого и никогда.
 Оно глядело отрешенно и в мое седьмое небо, и в гудящие тартарары,
 когда ко мне непрошено впадали те златокудрые ангелы, как и демоны
 те сизогубые, и не мигало на все мои крылатые отъезды и возвраты
 извечного круга. А человечества безмолвное кино читается с подоблачной
 мансарды, как срез поминных пирогов, меняя в сотах лица на мятые тела,
 но слева от одного окна всегда ютилась юркая старушка, что днями спит
 за портьерой замшелого цвета, а ночью теплит млечный огонек, поминая
 себя и угрюмого мужа, что затажно курил, облокотившись на узорную
 решетку и отпуская к звездам дым, когда я был прозрачней и моложе.

Под ней давно девица, что валяется днями с дебильником в руках, встаю я иль ложусь, одна иль с редким мужиком, из-под которого пялятся прямо в глаза опрокинутым каменным взглядом тех баб исполинских, что на острове Пасхи глазают в первенебеса. А под крышей молодчик спортивного вида, живущий с распахнутым окном среди леса стиранных футболок, которые любовно примеряет, вертясь часами перед зеркалом незримым. Дня три назад, возможно, в наказание, он вывесил наружу все свои пальто и цветасто-пушистые куртки, что в ужасе сцепились рукавами, болтаясь на ветрах на пятом этаже, пока он рыскал в поисках неведомой одежды, какой не видел свет. А справа китаянка хунвейбинского склада, что затемно уходит на работу, а вечерами пилит своих куклоликих чад какими-то утиными словами. Двумя этажами ниже, в жару, раскурчавый, как Пушкин, мулатик, занимается этим на подоконнике, ища глазами наблюдателя и вещая кому-то в трубку: «Я Энцо, мне двенадцать лет... На каникулах из Гваделупы». Потом из этого окна глядят уже жандармы, разбираясь с его шоколадной мамашей, отвлеченно разводящей руками в ответ. Под ним затейник из дискотеки с горой разложенных пластинок, всегда один, в наушниках, за плотной шторой среди миганья недоброго света. Порой в одну из этих рам наваливает молодежь на выходные и врубает свой адский бум-бум, задергивает занавески и, набесясь, накурившись и на-не знаю что, вываливает в полдень с потусторонними глазами, бросив в подъезде мешок с бутылками и ломтями недожранной пиццы. Старушки каркающий кашель, засвеченные кадры судеб и тюлевая заводь ничейного окна, так крутится в глазастой пустоте повторное кино уж тридцать с лишком лет до ряби стертого конца, когда смолкает хор и тают скрипки за пыльным бархатом смыкаемой завесы, а курочки чего-то всё клюют на солнышке колючем, не тают нитяные облачка, не валится тупой забор с лопастыми цветами, и рдеет ладный петушок под лучом незакатного света.

Евгения Джен Баранова

ДУША — ПЕСОК

* * *

Там, где кончается собор
и начинается парковка,
я прикасалась рукавом,
точнее, драповым предплечьем, —
смотрели женщины в платках,
как шевелит твою ветровку
Москвы садовое пальто,
брусчатый мел Замоскворечья.
И запах луковых церквей,
и лак собянинских окраин.
Какая может быть печаль —
попробуй йод, отведай цинк.
Здесь рыбы отдали тела
для чешуи дворцовых спален,
и на царевну сквозь окно
глядят влюбленные стрельцы.

* * *

Мой акварельный друг,
душа твоя — песок,
вокруг звенят ковры и движутся верблюды,
и если бы ты мог,
да, если бы ты мог,
пришел бы и увез
куда-нибудь отсюда.

То тихо расстрелять, то высечь провода,
то праздник опоздал, то дедушка не вышел.
Вокруг такой мороз, что долгая вода
слезает по щеке и падает на крышу.

И в этом — простота, валежник, пустельга,
на Воробьевых — пар и колкие скамейки.
Душа твоя — песок,
не в этом ли беда,
не оттого ли лжет в смартфоне батарейка?

* * *

Красивый польский мальчик говорит,
и я теряю голову, на вид
мне тридцать шесть,
мне тридцать шесть и шесть,
(куда она укатится бог весть?).
Пусть катится сквозь Польшу и поля.
Мой лоб — всего лишь медная земля,
затылок — огороды и холмы,
я полый шар небесной глубины.
Я так пуста, божественно пуста,
прости меня — кудрявый я кустарь,
чумазое досталось ремесло —
и головы утеряно весло.

* * *

В полудреме, полуяви
вьются тела провода.
— Я люблю тебя.
— Едва ли.
— Я люблю тебя!
— Ну да.

Сколько километров снился,
к скольким припадал ногам.
В тишине шуршат страницы,
посвященные не нам.

Бродит солнце по парадной,
лижет летнее пальто.
— Я люблю тебя.
— Ну ладно.
— Я люблю тебя!
— И что?

Было ломко — снег в горошек,
 две перчатки, мех и мед.
 Жизнь — воспитанная кошка —
 поиграет и уйдет.

* * *

Когда живешь один, невовремя готовишь.
 (На суточных словах далеко ль улетишь?)
 Ты водишь свой скелет по Острову сокровищ,
 как бедный Бенни Ган — беспроводную мышь.

Когда живешь один, щебечешь в переписке,
 таскаешь по траве единственный сундук,
 ошкуриваешь день, окуриваешь искус,
 но морю наплевать на брошенное вдруг.

Когда живешь — но нет
 однажды (не противься)
 однажды (прогремят)
 однажды (с корабля).
 Посмотрит на тебя с прищуром Дэвид Ливси,
 и «яблочко» споет придонная земля.

* * *

Кандидат бессонничьих наук,
 мастерица замыслов тревожных,
 я укромный розовый паук
 на чьей-то коже

тяжело вдоль времени ползти
 с праздничной тележкой паутины
 но пока я существую, ты
 в себе единен

но пока я говорю, слегка
 задыхаясь в приисках шмелиных,
 тайна голубого сквозняка
 неуголима

И пока на платье темноты
ты теряешь пуговицы улиц,
я не существую, это ты,
ты существуешь.

* * *

Через рев потехи алой,
через бредни наяву,
через реки, через шпалы,
танки ехали в Москву.

Я звонила, мне звонили,
в чашке бился алкоголь.
В огороде смертной пыли
я искала голос твой.

По груди моей осипшей,
по гектарам, по губам —
по приемникам, по крышам,
а хотели бы — по нам.

Я звонила, я пыталась
скрыться в родинках, украсть
ту оставшуюся малость
небронированных ласк.

И пока они наелись,
скрылись в лунном далеке,
я дрожу хвоинкой ели
на твоём воротнике.

И укрыться страху нечем,
и бежит к тебе волна.
Танки ехали на встречу.
Я встречала их — одна.

Александр Габриэль

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

* * *

Человеку вдребезги разбомбили дом.
Он бредет по городу со своим котом.
Горе-горе-горюшко нынче нарасхват.
Человек — заплаканный. Кот — подслеповат.

С неба крупкой сеется дождевой нектар.
Кот желает на руки. Он устал и стар.
Обнял кот хозяина, словно теплый плед.
Каждому из парочки — по тринадцать лет.

Смесью гари с ужасом полон материк,
в самом центре коего — мальчик и старик.
Двое — в полутемени муторного сна.
Ближих всех на радугу увела война.

И плывут по городу сквозь туман и дым
двое тихих выживших, ставшие одним.
Кто бы охранил тебя от земных невзгод,
коточеловеческий человекокот...

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

Когда ветшает шелк былых знамен —
вокруг тоска, безветрие и тишь...
Безвременье — царица всех времен.
Правления ее не избежишь.
И в мире нет хулы и нет хвалы,
лишь метрономом тикает прибор,
и серых облаков лимфоузлы,
как гири, нависают над тобой.
Так было. Так и будет испокон.

Обманна человеческая суть.
Когда ты переходишь Рубикон,
так хочется обратно повернуть!
Берет бразды правления тобой
воинственной отрядов Чан Кайши
фантомная придуманная боль
фантомной и придуманной души.
И длится — с февраля и к февралю, —
пуская тени прошлого в распыл,
период между «Я тебя люблю...»
и нисходящим «Я тебя любил...».

КАК РАНЬШЕ

Давайте же, давайте жить как раньше:
читать душеспасительные книги,
осваивать стипендии и транши,
следить за ходом дел в футбольной лиге.

Спокойствие — удел людей и мидий,
ведь правды нет ни на земле, ни выше.
Закрой глаза, чтоб ничего не видеть.
Зажми руками уши, чтоб не слышать.

Ведь всё вокруг — смесь пустоты и страха,
и оттого-то раздаётся снова
взрыв смеха из холерного барака
над немудрящей шуткой из чумного.

Аман Рахметов

ВТОРОЕ СОЛНЦЕ

* * *

в переводе с зеркального языка
облака переводятся как облака

иными словами
сложно сосредоточиться

птицы горизонта
отвлекают не меньше всплывающих сообщений
и желание любить
не сильнее привычки прихрамывать

но и тут
я прекрасно понимаю
при отсутствии внутреннего ветра

листья
не перестают падать

волны
не перестают шуршать

* * *

я сидел в маленькой стеклянной коробке
пил американо
смотрел на море
и совершенно ни о чем не думал

весь день
я смотрел на море
в маленькой стеклянной коробке
пил американо и совершенно ни о чем не думал

день постепенно остывал
и когда солнце утонуло полностью
на стекле появилось
мое отражение

* * *

памяти Вани Адаменко

никого никогда не помнить
только ведра водой наполнить
и домой не пролив ни капли
никуда не спеша как цапля
пролетающая над речкой
как сосед выходил в овечьей
шапке крикнуть меня на встречу

это было давно я вспомнил
я воду ведро наполнил
шел домой не спеша как есть
и сосед выходил на встречу
в своей вечной шапке овечьей
предлагал мне зайти поесть
я как будто зашел и вышел
или имя свое услышал

это было давно спешить
было некуда камыши
чуть шумели как радиоволны
я ведро опускаю в воду
над рекой пролетает цапля
как бы воздух сырой царапая
и домой не пролив ни капли
я зашел и оставил ведро в коридоре

нет коридор был верандой
точно не помню
помню ведра водой наполнил

помню жили в одном ауле
потом переехали
значит
все живы

никто не умер

* * *

бабушке

я говорит всю ночь не спала
солнце замачивала
в тазике горизонта
протирала длинные зеркала
чистила золото

расчесывала волосы
проводных линий
признавалась в любви к смерти
а под утро смотрела на первые ливни
а потом на вторые
а потом на третьи

* * *

второе солнце отличается от первого
не только расположением
но и честностью

второе солнце увидеть невозможно

под первым
растут обыкновенные деревья
тогда как под вторым солнцем
растут деревья времени

поэтому второму солнцу никто не поклоняется

однажды я увидел дом
трещины которого сливались с тенью
рядом стоящего дерева
можно допустить что это было
дерево времени

но это было обычное дерево
живое

тень от дерева времени
падает только от второго солнца

* * *

человек засыпает и становится фотографией
несколько часов
на него можно спокойно смотреть
и ни о чем не думать

а потом он просыпается
и становится фильмом
с хорошим саундтреком
и шикарным актерским составом

* * *

допустим работа занимает свои пятьдесят процентов
тридцать уходит на сон
девятнадцать на все остальное
включая внезапные встречи ремонт холодильника
отмену такси и прочее

остается один процент
а я не могу понять — что это и к чему относится
торчит из моих расчетов

как нитка из новой футболки

* * *

медленное *не хмурься*
ускорению не поддается
потому и кажется длинным
это короткое солнце

потому и желание забраться
в лодку собственной тени
усиливается и стихает
усиливается и стихает

* * *

в том заведении с шатающимися столиками
я наблюдал как прохожие спускались по крутому склону
несмотря на то
что никакого склона не было
только ощущение

время толкает людей в спину

и это понятно
чувство устойчивости как и любые другие чувства
встречаются редко

потому что моргают кусты
потому что длинные деревья раскачиваются так
будто ими подметают небо

потому что мир не перестает шататься

даже это стихотворение
чтобы его дописать

пришлось придерживать пальцем

* * *

лет восемь назад я был знаком с девушкой
чье имя было гладким как речной камень
только не бросай его в речку
как это делают многие предупреждала она меня

но я никогда не умел
сдерживать своих обещаний
поэтому буквально каждый вечер я подходил к речке
и бросал ее имя под острым углом

несколько раз оно отскакивало от воды
и проваливалось
было забавно потому что каждый валявшийся на берегу
камень был ее именем

и почему она запрещала бросать свое имя
в речку
я до сих пор не понимаю

* * *

выражение *плакать вовнутрь*
могло бы означать влюбленность
или состояние влюбленности
тогда признаваться в любви
было бы как минимум странным
и как максимум правдой

когда я увидел тебя впервые
сказал бы он я заплакал вовнутрь
я тоже
ответила бы она

* * *

иногда я думаю что стихи
это просто короткий взгляд
на незнакомого человека
но это конечно не правда
стихи
это нечто большее

я оглядываюсь назад
и вижу ряд невыполнимых задач:
выучить стихотворение
выдавить пасту из пустого тюбика
уволиться из армии
позвонить отцу

Мирослава Бессонова

ЧТОБЫ СЛЕД ПРОСТЫЛ

* * *

от слез потяжелела голова
но топоры сложили палачи
и возле дома высохла трава
и порвались футбольные мячи

и путеводный лист повешен желт
хороших не оставил новостей
и отвернулся тот кто бережет
тебя меня и наших всех гостей

прибитые гвоздями облака
оставлены в покое насовсем
и страшно дотянуть до сорока
когда через неделю двадцать семь

с грядущим оступиться на пути
горящей спичкой кинуться во мрак
туда где точно больше не найти
ни слов любви ни преданных собак

* * *

зима отшлифует тревоги наросты
забудешь как больно
из почвы бесплодной в которую врос ты
вытаскивать корни

дрожать новобранцем трепаться как лента
пропащего века
а после идти поперек континента
искать человека

пока не предаст обесточенный гаджет
маршрут потеряет
и сирин слетевший со шпиля не скажет
как смерть окрыляет

триптих

1.

за фантомом алконоста
следуй капитан
дам процентов девяносто
полегчает там

где не бьют под дых куранты
не горят рубли
только скаты только манты
глядят корабли

2.

переписанный неточно
согнутый в дугу
как ты плачешь этой ночью
слышать не могу

распакуй свою депешу
аргументы взвесь
хочешь я тебя утешу
не сейчас не здесь

3.

только бы не быть казаться
не идти на вы
прыгать с нового абзаца
выше головы

по линейкам и по клеткам
по листам пустым
по сапера красным меткам
чтобы след простыл

* * *

о прошепчи над головой
что все проклятия сбылись я
пойду смотреть как с глаз долой
плывут утопленники-листья

туда где древние хребты
скрывают вечную свободу
где скоро будешь связан ты
тугим узлом и сброшен в воду

и без флажка без маячка
украдкой вшитого под кожу
пойдешь ко дну и тчк
когда я время подытожу

займешь подводную кровать
и рыбы будут то и дело
песком колючим укрывать
твое бессмысленное тело

* * *

всё трезвее и трезвее
и просветы больше слаще
я в лесу оставил зверя
он следил глаза тарачил
а меня к земле клонило
подремать на мху немножко
и мелькали мирно мимо
божья мать неотложка
первобытный леса страж но
было горько
станет сносно

я любил его бесстрашно
и убил молниеносно

* * *

теперь я вижу — наш отравлен почерк
и нет ни капли яда во флаконе
пора признать что чистовик испорчен
и не отмыть чернильные ладони

пора собрать вещички и стереться
со всех историй сложенных красиво
в которых бьется вдребезги не сердце
и без конца кончается не сила

* * *

кожа кожа холодела
подойдет любой подъезд
грейся трепетное тело
нас лишили кровных мест

без проклятий без охраны
возвращаться не пора
ищут звезды-великаны
ждут чудовища-ветра

неотступно как невротик
боже вызови врача
память раненая ходит
еле ноги волоча

сапоги в грязи полощет
носит яблоки в плаще
ночью страшная на ощупь
неприятная вообще

следом следом то и дело
пар пуская голым ртом
спи беспомощное тело
пусть не снится что потом

кроме птиц голодных кроме
слез застывших на бегу
капли крови капли крови
словно ягоды в снегу

* * *

я был там, обреченный на провал,
где опустели гнезда и обоймы,
где ты молчал, но подразумевал
тот факт, что из материи одной мы.
теперь попробуй через «не могу»,
собрав следы по старому маршруту,
побыть со мной на этом берегу
еще минуту.

Александр Правиков

БЕДНЫЕ РИФМЫ

* * *

скажем их двое для простоты
хотя само собой их полно
кричат не сиди на двух стульях эй ты
выбери что-то одно

один орет выбери мой стул
другой выбери мой
не тормози ты что ты застыл
ты дурак ты глухой ты немой

оба орут надо прямо сейчас
выбирать кто друг а кто враг
а если не выберешь то ты трус
подлец предатель дурак

что ж пусть у них будет общим хоть это
хоть злость на меня дурака
я буду за оба стула пока
я буду держаться пока

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Это не июль, а йоль,
И не снег, а соль.
Прошлый год пришел с косой
И ушел с косой.

Будущий стучится к нам:
Время болтунам
Отвечать за блабла-гам
О любви к врагам.

Быть легко,
Не быть легко,
Быть легко как все.
Трудно быть не говнюком,
Ну никак совсем.

Поднимает лай и вой
Шарик голубой.
Ну какой тебе покой,
Что ты, Блок с тобой.

Я лежу на дне ведра
На траве двора.
Выноси меня, моя
Легкость бытия.

* * *

Мир, провалившись за пазуху декабря,
Стих и застыл, ибо что суетиться зря.
Лучше уж в самом деле бухать или постить котят,
Ожидая пока эти там еще что-нибудь запретят.

Слава бездействию в мире активного бреда,
Слава справляющимся без кровожадного кредо!
Больше стихов — раз они никому не нужны,
То и не будут в телегу добра впряжены.

Уступить дураку дорогу. Когда дорога
Вместе с окрестным пейзажем летит во тьму,
За что держаться? Раньше бы я написал «за Бога».
Теперь не пишу за Него, давая место Ему.

* * *

Даже слепые, глухие, бездарные
По новостям затвердили накрепко:
Хорошие парни, плохие парни
Действуют одинаково.

Если судить по плодам,
 Что в вашей правде хорошего?
 Где защищали священное, там
 Обязательно месиво, крошево.

Станешь агностиком в этом огне,
 Взвоешь собакой в этой воде,
 В трубы провалишься медные.

Ихнее дело от нашего не,
 А в темноте даже рифмы, и те
 Бедные, бедные, бедные.

* * *

Злодей не знал, что он злодей.
 Он по утрам ходил на службу
 И честно делал то, что нужно,
 А нужно было бить людей.
 Конечно, плохо женщин бить,
 Но если родина велела
 И если ради пользы дела,
 То как тут быть? Ну так и быть.
 Он не родился палачом,
 Но премии, уж так сложилось,
 Дают за страх, а не за милость.
 А ваши слезы ни при чем.

Палач не думал про себя,
 Что он палач, и, умирая,
 Рассчитывал достигнуть рая,
 Но оказалось — не судьба.
 Вернее, это рай и был,
 Но он не понял — скука, сопли.
 А где стенания и вопли
 Осужденных и где... забыл...
 А! воздаянье патриотам
 За их борьбу со вражьей силой?
 И вот он борется с зевотой
 И смотрит на свою могилу.

Над ней стоят его коллеги,
Толкают длинные телеги
О том, каким он парнем был,
Любил жену и гадов бил,
И сколько засадил врагов,
И сколько настрочил сроков.
Стихают речи, палачи,
Крестясь, расходятся в ночи.
Ночь пахнет лаврами и йодом,
Зло притворилось миражом,
И все кафе полны народом.
ЛГБтанкер «Элтон Джон»
Заходит в гавань задним ходом.

* * *

От трех кошмаров я проснулся,
А от четвертого не смог.
Настолько маленьким и грустным,
Настолько сжавшимся в комок
Не помню этот город, эту
Страну, да, в общем, и планету...
А, собственно, при чем тут память?
В крови полмира — год как год.
Историк вам, не напрягаясь,
Года страшнее назовет.
Но что-то с Кантом и с мирами
Бессчетными над головой,
Как будто песню доиграли
И надо двигаться домой.

Как будто я герой Жюль Верна,
Дефо или Дюма-отца —
Под задом незнакомый берег,
Под носом рыжая грязца.
И где я? Карта тут бессильна.
Я поднимаю к потолку
Глаза, припомнив, что я сын не
Полка, а «Слова о полку...».

Туземцы вежливо подходят,
Я им такой: «Кирилл-Мефодий?»
Они в ответ разводят руки
И выразительно глядят.
А в разведенных ручках штуки,
Похожие на чем едят.

СТИШОК, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛСЯ ИЗ СМЕШНОЙ КАРТИНКИ

Отче наш, ежа неси, и кита, и курицу,
Да не преткнутся лапами, плавниками не скребанут.
Люблю смотреть — Ты несешь, а они зажмуриваются.
Курица думает, что ты несешь ее одну,
А кит — что это он все держит с двумя друзьями
И одной черепахой... Что думает еж?
Только Ты расслышишь, да еще, может быть, ежика.
Я тоже, как он, стараюсь вести себя тихо,
Чтобы не выпасть, пока Ты меня несешь.

Олеся Цай

СТЕРТЫЙ ЛАСТИКОМ ПОСЕЛОК

Фрагменты

*

сначала было только слово
и это слово уходи
ты не отсюда и другие
тебе такого не простят
но стертый ластиком поселок
нельзя покинуть просто так
все кто пытается покинуть
пройдя какой-то странный круг
себя без паспорта и денег
вдруг обнаруживают в нем

*

узбекский маленький поселок
четыре тупика арык
в котором утонув однажды
и что-то про него узнав
немой звериной детской страстью
была привязана к нему

плескаться в мутной и зеленой
воде все лето а потом
когда купаться запрещают
плохие мама и октябрь
переходить по узким трубам
и проверять длину прыжка
воображая ихтиандром
себя нанизывать листву
на палку будто ты с острогой
и ловишь рыбу на обед

потом опять приходит лето
не вылезает из воды
рассматривая водомерок
ловя блестящих вертячков
боясь пиявок и жалея
несчастных мертвых перловиц

арык был полон приключений
детей и взрослых все они
купались в заводи всем скопом
всегда с июня по сентябрь
и вылезали только если
вдруг кто-то закричит про труп
и ждали чтоб проплыл труп кошки
собаки или ишака

потом прождать срамную воду
и снова забегать гурьбой
все было очень странно страшно
но было весело когда
сосед пытался плыть куда-то
в эмалированном ведре

плывут огромные колеса
из дерева и мы на них
как на плотках стоим смеемся
но почему то не плывем

его уже не существует
он был однажды просто стерт
на этом месте новый узкий
в нем не купается никто
как мимо прохожу не вижу
стрекоз колес и вертячков
уже никто не ловит рыбу
лишь дети тонут до сих пор

*

ташкент меняется все время
сначала был как летний сон
бескрайний светлый безопасный
пугающий своим теплом
загадочный не то что дома
там из загадочного лишь
две-три шкатулки их мне мама
не разрешала открывать
а здесь куда ни глянь загадка
стоят огромные дома
все так красиво непонятно
а трогать ничего нельзя
как будто в маминой шкатулке
я очутилась в этом сне

*

как говорят в колхозе люди
девчонку можно из него
куда-то вывезти но все же
колхоз останется внутри
а здесь все чуточку сложнее
колхоз не в девочке а с ней
идет все эти годы рядом
как тень маньяк как верный пес
как сон как страх как странный вирус
она его встречает там
куда казалось бы проникнуть
при всем желании нельзя

*

не сразу поняла что дома
нет совершенно никого
куда-то делись мама с папой
ушли прабабушка с сестрой

стою одна глубокой ночью
гляжу в окно и вижу столб
огня взмывающий до неба
не понимаю ничего
и как все дети начинаю
от одиночества рыдать

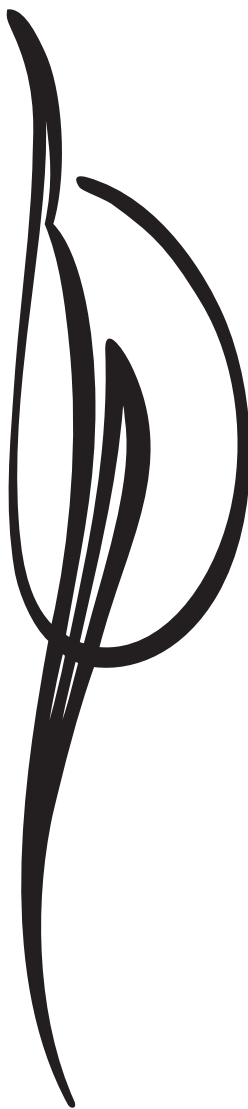
*

я редко навещаю маму
по сути что я ей скажу
на фотографии с улыбкой
она похожа на меня
в день свадьбы мама улыбнулась
ни до ни после вот тогда
ее фотограф снял и эту
решили ставить на плиту
а ведь она не улыбалась
ни до ни после ни когда
шутила или даже если
смеялась это был не смех
что я скажу допустим мама
а я смеюсь а я люблю
я счастлива во сне летаю
со мной любимые друзья
любуюсь на детей дом чистый
и холодильник не пустой
и ты могла пожалуй так же
но я тебе не помогла
свет выключен разбита лампа
в ташкенте пробки каждый день
и интернат снесли на старых
полях построив стадион
я уложусь в одну минуту
и мама выслушав меня
сотрет фальшивую улыбку
глазами спросит лишь одно
а люди что сказали люди
они сказали молодец

*

ты думала что улетела
и это точно навсегда
но вот завозит чемоданы
дочь долговязая твоя
на вид все очень изменилось
и ничего не узнаешь
на смену рабице обвитой
простым сиреневым вьюнком
пришли заборы из бетона
закрыты как лицо жены
калитки можно было выбить
одним пинком теперь у всех
резные стильные ворота
резные лица из морщин
но стертый ластиком поселок
был стерт небрежно здесь везде
встречаются обрывки детства
как тексты старого письма
при виде них все оживает
и поднимается внутри
как будто я кастрюлю с супом
забыла снова на плите
и льется через край соленый
бульона мутный кипяток

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Саид Янышев

ДВА РАССКАЗА

ЛАГЕРЬ

Я сижу в квадратной комнате и смотрю сквозь застекленную решетку на тополь. Тополь, поделенный прутьями моей решетки на три неравнозначные части, в свою очередь, глядит на меня. С укоризной так глядит, покачивая своей макушкой, дескать, где ты, а где я! Ему хорошо рассуждать: он дружит с ветром и тянется к солнцу. А я один.

Вот уже целых четыре дня я живу в лагере, и подумать страшно, сколько еще должен в нем прожить. Когда мне исполнилось восемь лет, я впервые попал в подобный лагерь. Моему брату, с которым я к тому времени ни разу не разлучался более чем на сутки, в нашем дворе на челюсть упали футбольные ворота. Ему наложили «шины», и в лагерь я поехал один. Помню, как мы с мамой сидели в беседке, недалеко от проходной. Мама дала мне конфету в неприглядной обертке и сказала, чтоб я не скучал, что через четыре дня на открытие смены она ко мне приедет. Где-то над воротами возвышался огромный тополь, а я, дожевывая карамель, спешил в свой отряд, чтобы поскорее окунуться с головой в лагерную жизнь. Уже на следующее утро я затосковал, еще не зная, что это изнутри разъедающее чувство называется тоской. Просто весь этот лагерный режим с его завтраками и полдниками по расписанию, линейками, уборками территории и отрядным разучиванием песен с первых же минут мне стал невыносим. Я заскучал по маме, брату и бабуле. Впервые оказавшись оторванным от дома, я вдруг проявил себя совершенно не приспособленным к одиночеству, равно как и не способным самостоятельно найти себе друга. Из целого отряда почему-то веселых и нескучающих сверстников я остановил свой выбор на, как мне показалось, таком же одиноким и грустящем мальчике, и стал молча ходить за ним по пятам. Видно, я в нем ошибся, потому что ему мое преследование не понравилось, и он стал меня открыто избегать. А я все равно

продолжал ходить за ним, как приклеенный. Спустя несколько дней, помню, мне было жутко стыдно случайно услышать, как он, показывая пальцем в мою сторону, жаловался пришедшей навестить его маме: «Все время ходит за мной и ходит...»

Уже на второй день пребывания в лагере я возненавидел, за исключением почему-то именно этого мальчика, всех и вся: спальный павильон, пахнущее сырым картофелем постельное белье, швабры и веники, гороховую кашу в столовой, от которой постоянно пучило живот, но более всего свою воспитательницу, так не похожую на маму своей сухостью в обращении и отсутствием в лице какого-либо подобия ласки. Когда весь лагерь погружался в сон, она, сидя с какими-то мужиками на перилах павильона и над чем-то с ними подхихикивая, бесконечно курила. Но я-то ведь не спал. Я вообще почти не спал, а, уткнувшись в подушку, тихонечко плакал.

А как только выпадала свободная минутка, я бежал в ту самую мамину беседку, в которой мы с нею прощались, садился на то самое место, где сидела она, доставал из кармана шорт когда-то неприглядную, но теперь ставшую для меня самой красивой и родной этикетку от карамели и подолгу изучал глазами и губами каждый миллиметр ее по-домашнему пахнущего узора. Затем, спрятав поглубже в карман эту бесценную реликвию, прожигал лупами мокрых глаз ворота проходной, за которыми была дорога к дому, и огромный тополь, возвышающийся над ними.

С раннего детства моими самыми любимыми деревьями были тополя. У меня на родине тополь — самое высокое дерево, неправдоподобно высокое. Когда я смотрю на него, где-то вдалеке вытянувшегося над прочими растениями, мне все время кажется, что он растет на некоем волшебном холме и потому выглядит выше других. И всякий раз меня тянет взобраться на этот несуществующий холм — родину тополя, подспудно воспринимаемый как мой собственный отчий дом. Откуда взялась любовь к этому дереву, мне стало понятно только теперь, спустя более чем двадцать лет. Когда нас с братом будили идти в детский сад, а затем и в школу, первое, что я видел, едва продрал глаза, были дрожащие мелкой рябью листочки-пальчики мощного тополя, поравнявшегося своими лапами с нашим чет-

вертым этажом. Хотя, нет, не первое — второе. Первое, что я видел, было ласковое родное лицо мамы. Или бабули.

Вот уже целых четыре дня я живу и работаю в лагере вожатым. Вообще-то я работаю в школе учителем. Но сейчас только начало лета. Учебный год недавно закончился, а до моего отпуска еще целый месяц, который я должен по распределению отработать в этом лагере вожатым или воспитателем, на выбор. Первый день прошел более-менее гладко: детей еще не завезли, и я подготавливал свой павильон к их приезду — собирал железные пружинные кровати, получал на складе матрасы и белье. Единственная неприятность за этот день — неожиданный конфликт с начальником лагеря. Вернее, не то чтобы конфликт — скорее, очень неприятный такой разговор. Ко мне в павильон прибежала одна из вожатых — короткостриженная, скуластая девица лет двадцати-тридцати с очень противным, почему-то уже сорванным голосом, и визгливо прохрипела:

— Это твой, что ли, павильон? К начальнику лагеря, быстро!

Начальник лагеря, то есть начальница, с порога в ответ на мое приветствие:

— Почему не пострижены?

— Дело в том, что...

— Вам сколько лет?

— Двадцать восемь...

— Вот именно! Взрослый уже человек, и такая неопрятная шевелюра! Года три уже, что ли, не стриглись... Вы тут не в городе — здесь лагерь! Немедленно постричься! Что стоите? Вам денег дать на стрижку?!

Я вышел от нее с тяжелым сердцем и с твердым решением — ни в коем случае не стричься.

Прежде я никогда в лагерях не работал, а лишь «отдыхал» в одном из них двадцать лет назад. Разве я мог предположить, что теперь, будучи взрослым, самостоятельным и образованным человеком, я затоскую в лагере, как ребенок?

Может быть, само описание того, что произошло со мной за прошедшие несколько дней, покажется кому-то жалобами «маленькина сына», не отлучавшегося ни разу из родительского

дома. Отнюдь: я успел побывать в разных частях света, пройдя тысячи километров пешком через многие лишения, холод и голод. Суть в том, что всякий раз я оставался абсолютно свободным и верным своим давно уже устоявшимся взглядам на существующий день. А здесь...

К вечеру первого дня в лагерь заявился-таки мой будущий напарник — парень примерно моих лет, учитель одной из национальных школ. С первых минут знакомства показав себя добрым малым с открытой душой, он намекнул, что хотел бы именоваться воспитателем. Что ж, какая разница, буду вожаком — обязанности перед детьми примерно одинаковые, — решил я и согласился.

На утро следующего дня привезли детей. Нам достались пацаны 12–13 лет — обычные столичные школьники — не плохие, не хорошие. Новоиспеченный воспитатель сразу же поделил обязанности: «Мое дело — как воспитателя — столовая, а твое — все остальное!»

С детьми мне всегда было интересно. В школе я их баловал, но и севшего на шею всегда умел приструнить — система отметок выручала. И дети меня любили, ценили за справедливость. Мне казалось, что в лагере я обрету целый отряд друзей, а потому позволил напарнику почувствовать себя главнее. Пацаны поначалу меня слушались беспрекословно — они как бы присматривались ко мне, изучали. Нужно ли говорить, что их радушие меня усыпило?..

На следующий же день после заезда детей мой «воспитатель», сославшись на неотложные дела и отпросившись у начальства, отбыл «на денек» домой. И я опять остался один. Как когда-то, много лет назад. Мое прошлое вдруг воскресло, как кошмарный сон. Я неожиданно для себя вдруг оказался внутри ненавистного с детства лагерного режима с его завтраками и полдниками строго по расписанию, линейками, уборками территории и отрядным разучиванием песен. Тщетно я пытался убедить себя, что я «взрослый», «свободный» и какой там еще... Увы, во мне взял верх восьмилетний мальчик, неожиданно оставшийся в целом свете один, беззащитный и тоскующий по маме, брату, бабуле... Более того, я почувствовал себя как бы в материнской утробе, за горло схваченным собственной пуло-

виной. В общем, мрак крошечный. Моя же давнишняя детская несвобода, зависимость от взрослых ныне обернулась моей теперь уже взрослой зависимостью от детей.

Эти дети сделались вдруг неподвластными абсолютно во всем, будто проверяя, сколько же я выдержу. Нет, конечно же, не все. Добрая половина отряда оказалась аморфной и безвольной и пошла на поводу у нескольких трусливых, а потому на удивление подлых подростков. Что бы я ни говорил или предлагал, воспринималось ими в штыки. Дневной послеобеденный сон был превращен в «салочки»: они убегают — я догоняю, потому что мой уже сорванный голос мне не помощник. А вчера произошло самое ужасное: небольшого роста щуплый паренек, из числа мне сочувствующих, тот, кого я уже считал почти своим другом, в самый разгар послеобеденной войны подкрался ко мне сзади и, пнув меня своей коротенькой ножкой чуть ниже поясницы, под общий гогот убежал.

Этого предательства я вынести не смог. Я взял ремень. Через секунду его свист, смачные шлепки о голые тела, крики боли и недовольные возгласы — «А че это вы деретесь?!» — слились воедино. А еще через секунду порядок был восстановлен и весь отряд как один очень сосредоточенно предавался послеобеденному оздоровляющему сну.

- Я не поняла, ты че сел?!
- Я не умею...
- А кого это волнует?! Иди учись!
- Но я не хочу...
- Я не поняла, че значит не хочу! Ты че сюда приехал, сидеть-кайфовать?! Иди танцуй!
- Ну можно я...
- Я сказала, танцуй! Поговори еще у меня! Танцевать, я сказала! Смотри дружинных танцев на носу, а они сидят!..

Это произошло со мной впервые. Я, учитель, поднял руку на своих учеников! Разве прежде всего не моя вина в том, что они сели мне на шею, а я этого вовремя не предотвратил? Имею ли я право после всего случившегося оставаться их вожатым, учителем?.. Смогу ли я теперь в их открытые, честные, злые глаза смотреть так же открыто и честно?!

Мне до зарезу необходимо было остаться одному, но не здесь — полностью сменить декорации, причем немедленно. После вечернего отбоя, профилактически выждав полчаса, я перелез через ограду лагеря и уже через час был дома. Дверь мне открыла бабуля со словами: «Джаным¹, ты уже вернулся?»

...Мой милый, добрый, уютный дом, родительский дом... Я помню эту квартиру на последнем этаже кирпичной четырехэтажки в те времена, когда еще не в ходу были обои и стены всех трех комнат — одеты мажущейся побелкой: зал — зеленого цвета, взрослая спальня — розового, и детская — голубого. А в подъезде, когдаходишь в него со двора летним жарким днем, стоит этот неподражаемый на век вросший в мои сновидения запах прибитой водой пыли. И входной бункероподобной железной двери нет в помине, а есть красное заходящее солнце сквозь открытые настезь окна, нанизавшее на свои все еще ослепительные, но уже по-вечернему нежные лучи каждый закоулок пропахшей жареным луком квартиры. И всегда есть, была и будет моя любимая бабушка, бабуля, бувиджон...

...Ни о каком сне не могло быть и речи. Я сидел на балконе на старом бабушкином сундуке и одну за другой хоронил убитые мной сигареты, отправляя их в узкое горлышко бутылки.

Нет, в лагере работать я больше не смогу. Да и в школе, пожалуй, тоже. Когда-то я ходил в детский сад, затем — в школу, потом — в институт. Разве не для того, чтобы теперь быть по-настоящему свободным и не делать того, чего в действительности не хочу?.. Или не могу. Мама бы на это наверняка сказала так: «Ну, дорогой мой, в жизни не все так просто. Иногда что-то приходится делать через «не хочу...»»

Эх, мама, мама... Вот именно, что не все так просто...

Вернуться в лагерь и продолжать жить в ненавистном с детства распорядке? Учить с детьми речевки, в которых со сменой режима век от века только концовка меняется: «Раз, два, три, четыре... Кто шагает дружно в ряд? — Боевой отряд девчат!»

Заставлять их разучивать так называемые дружинные танцы, на которые дети плевать хотели, да и ты бы наплевал, окажись на их месте, а пока что, будь добр, выполняй то, что

¹ Джаным — дорогой, любимый (узб.).

велено?.. А выслушивать день ото дня после вечерней линейки вымученные пожелания спокойной ночи?.. Это надо видеть! Старший воспитатель выстраивает на левой стороне поля все девчачьи отряды, а на правой — все мальчишечьи. А затем «ласково» спрашивает в микрофон: «Ну, кто сегодня будет первым? Давайте-ка начнем с девочек!» Прямо как в колонии для несовершеннолетних. И девочки начинают орать: «Спокойной ночи, мальчики!» А мальчики им вторят: «Спокойной ночи, девочки!» А в крике слышится: ну погодите, девочки! А затем под музыку колоннами по два отправляются в свои павильоны. Боже мой, какая фальшь в этом всем!..

Не хочу. Бежать... Бежать! Сегодня же!.. Но как? Разумеется, не так, как сбежал из лагеря 20 лет назад.

Три дня я тогда безутешно проплакал, а потом наконец пришла мама. Помню, как я, увидев ее вдалеке, заходящую в ворота, вырвался из отрядного строя, готовящегося к торжественной линейке, ни у кого не отпрашиваясь, ни перед кем не оправдываясь, и, заливаясь слезами, поскакал галопом к воротам, чтобы через какое-то мгновение повиснуть на родной горячей шее.

Уговорить маму забрать меня из лагеря насовсем мне не удалось. Зато она согласилась взять меня под расписку на одну ночь, взяв с меня обещание, что на следующее утро я вновь собою пополню ряды «отдыхающих». Этой ночью мне было так хорошо, как никогда. Я наконец-то спал! Сладко и беспробудно.

А наутро три дня, проведенные в лагере, мне показались всего лишь страшным сном. Я был уверен, что теперь мне в лагере понравится. Тем более, что по пути мы зашли в магазин «Игрушки» и мама купила мне обалденный бинокль. Прощаясь с мамой в нашей беседке, я пообещал ей сильно не скучать и не плакать. На том и расстались.

Первые полчаса я с гордостью осматривал в бинокль окрестности. Потом в него же стал посматривать на любимый тополь, то приближая его, то отдаляя. А еще через полчаса я вновь затосковал, причем, как мне показалось, сильнее, чем прежде. Я проплакал весь день, а когда пришли в столовую ужинать, один только запах гороховой каши заставил меня незаметно отделиться от своего отряда и вернуться в спальный павильон. Вряд ли я тогда ясно осознавал, что делаю, находясь всей душой в плену у своего горя. Действуя скорее машиналь-

но, я с трудом запихал в маленький вещмешок (большую сумку мама забрала) все свои вещи, включая бинокль и килограмма два черешни (к ней я ни разу даже не притронулся, но оставить любимые фрукты в ненавистном лагере — ни за что!). Затем побежал мелкой рысью вдоль ограды лагеря к воротам. Обычно около них находилось несколько ребят из дежурного отряда, но теперь все были в столовой и — о, чудо! — ворота оказались открыты. Свобода! Выбежав за пределы лагеря, я теперь уже с радостным плачем кинулся к ближайшей автобусной остановке. На ней стояло несколько человек, и я, поскольку смутно представлял себе, в какой части города нахожусь, обратился к симпатичной женщине с добрыми, как у мамы, глазами: «Скажите, пожалуйста, как мне доехать до базара Беш-Агач!» Этот базар был известен любому, а мой дом находился недалеко от него.

— Ты что, из лагеря сбежал?! — тут же догадалась она.

— Да... Пожалуйста, тетенька, не отправляйте меня обратно! Как доехать до Беш-Агача?!

— Ну так и быть, — сжалилась, видя мое состояние, добрая тетенька. — Перейдешь на другую сторону и в-о-он там сядешь на такой-то автобус — он довезет тебя прямо до места. Да постой ты... Вот тебе 10 копеек — как раз хватит. А теперь беги!

Добрая женщина с мамиными глазами, я никогда тебя не забуду! Уже через час я был дома. Дверь открыла бабуля:

— Джаным, это ты?!

Естественно она, а затем и мама были, мягко говоря, шокированы. Их восьмилетний ребенок самостоятельно пришел домой с другого конца города! В лагерь я больше не вернулся. И никогда не возвращался — в течение 20 лет.

Итак, бежать... Но как? Просто забрать свои вещи, никому ни слова не говоря, — это не серьезно. Нужна веская причина. Честно рассказать начальнику лагеря, что я думаю про их режим? Никто со мной не согласится, вспыхнет скандал. Я так устал от скандала внутри себя. Хочется, чтобы все закончилось тихо и мирно, без каких-либо осложнений. Нужно придумать какие-нибудь серьезные семейные обстоятельства. Пусть это будет невинная, так называемая святая ложь, от которой

никому плохо не будет. Например, чья-нибудь свадьба... Нет, нехорошо: скажут — погуляй денек и возвращайся. А может, чья-нибудь смерть?.. Почему бы и нет?.. Только умереть должен кто-то очень близкий. Тогда отпустят... насовсем. Но кто? Кто-нибудь пожилой... Чтобы не возникло лишних вопросов. Вполне естественная смерть от старости... Например... бабуля... Да нет, какие к черту приметы! Все останутся живы-здоровы. Да об этом, кроме начальника лагеря, никто и не узнает. И потом, я слышал, есть как раз обратное поверье: хоронить живых — к долгой жизни! Помню, читал про какого-то писателя. Он умирал, уже лежал в беспмятстве. А его друг взял, да и написал на него эпитафию, еще на живого! «Покойник»-то и воскрес, и еще с десяток лет протянул... Все, решено! Светает уже — пора бежать в лагерь, чтобы успеть еще до подъема.

...Я сижу в квадратной комнате, кабинете начальника лагеря, и смотрю сквозь решетку на тополь. Благослови меня, милый!

Под ногами небольшая дорожная сумка, куда я в спешке, пока дети спят, запихал вперемешку все свое добро. Елки-палки, ну уж черешню-то мог бы и оставить — вон, вся потекла прямо на одежду. Ладно, выйду за ворота — в какую-нибудь урну выкину.

Сейчас придет начальник лагеря... Немного боязно. Стоп! Главное, для достоверности, самому представить, что все это правда. У меня умерла бабуля... у меня умерла бабуля... у меня...

Так, стоп, вот она идет. Только утро, а уже злая. Интересно, сколько ей? Лет 50–55, может, и поболее... Доброе утро!

— Да, слушаю, что у вас?

— Дело в том, что я больше не смогу работать...

— Как так?! Почему это?

— Дело в том, что... я сейчас звонил домой... в общем, у меня... у меня... умерла бабушка...

— Да ты что! Товба килдим...¹ Как же так, что случилось?

— Да вот, болела...

— Да-да, понимаю... И как же ты... Похороны сегодня?

— Да, как раз иду...

¹ Мои соболезнования (узб.).

— Но спустя какое-то время ты... вернешься?..

— Дело в том, что... думаю, нет... я не смогу...

— Но...

— Поймите, у меня умерла...

— Да-да, конечно... Ой, да ты весь бледный! Сядь немедленно вот сюда, к свежему воздуху... Да тебя всего трясет! На вот, воды... Осторожно, не торопись, вот так, сынок, вот так... Нужно написать заявление на мое имя. Вот бумага, ручка... Я продиктую... Боже мой, что же ты так переживаешь! Все мы смертны. Твоей бабушке сейчас хорошо, она отмучилась, в рай попала... Успокойся... Давай-ка, я сама напишу, а ты только подпишешь... Все будет хорошо! Работа никуда не денется. Пойди, попрощайся... А следующим летом приходи опять к нам работать... Так, вот здесь распишись. Вот, молодец... Ну, с богом?..

Я еду в автобусе... Как дошел до остановки, не помню. Как только под машину не попал, когда дорогу переходил?.. Наверное, так под машины и попадают... Господи, бабуля, бабулечка... Я убил тебя!.. Я тебя убил!.. Прости меня, роденькая, прости... Я не хотел!.. Я так любил тебя, господи!.. Кажется, вот моя остановка... Деньги?.. Какие деньги?.. Ах, да, конечно, вот... Ноги не слушаются, ватные совсем... Вон там, за поворотом мой дом, мой родной дом... Мне страшно... Вон мой подъезд... Какие-то люди... Знакомые... В чапанах...¹ ... мужчины... мои родственники... стоят... или мне это только кажется... ничего не вижу... как в тумане... Двери подъезда... раскрытые настежь... первый этаж... Бабулечка, бувиджон!.. Я тебя убил... Я — убийца!.. Прости меня... Ты мама моей мамы — была мне как мама. Второй этаж... Сколько бессонных ночей ты провела около нас, когда мы болели!.. Как ты нас с братом любила!.. С какой любовью ты на нас ворчала, а потом целовала! Как горько ты плакала, когда мы тебя огорчали! Так горько, так было жалко тебя, что я не мог удержаться и плакал вместе с тобой, как сейчас... Третий этаж... Этот родной запах прибитой водой пыли... А какой запах шел от тебя, бабуля!.. Запах молока, слежавшихся чистых полотенец, мыла из твоего сундука, лука, исырка² и чего-то

¹ *Чапан* — национальный халат, надеваемый в том числе во время отправления ритуала (свадьба, похороны...).

² *Исырк* — лекарственное растение.

еще... Запах дома, нашего родного дома, нашего детства... Последний этаж... Вот она, дверь... Почему-то только деревянная, железной нет... сняли, должно быть, чтобы было удобнее... Дверь закрыта... надо позвонить... Не слышат... Еще раз... еще! Еще!.. Идут... медленно и грузно... Щелкает замок... Кто это? Я не вижу!.. Бабуленька! Кажется, я кричу... Бабуленька! Прости меня за то, что я тебя убил!.. Туман падает с моих глаз на воротник, и я отчетливо вижу до смерти родную улыбку бабули:

— Сыночек, джанымдыр¹!.. Это — ты?..

P. S. «... хотя это, конечно же, очень больно.

Что еще меня тревожит, в последнее время более всего, так это судьба моих сыновей. С младшим более-менее понятно — нынче так живут многие: вдалеке от дома, теперь уже двое детей, платят мало, очень устает, живет в пригороде — полтора часа на электричке до города. Я думаю, все-таки он выберется. Возможно, добьется всего, чего хотел. А вот со старшим — прямо беда. Внешне вроде все нормально: работает в школе учителем, зарабатывает, конечно, не ахти сколько, но нам пока хватает. Только вот странный в последнее время какой-то. Ты извини меня за такую откровенность — кроме тебя мне не с кем больше поделиться. Недавно от школы направили его в детский лагерь работать, на одну смену. Так вот, через три дня заявляется поздно вечером, весь какой-то взбудораженный. От ужина отказался, лег на балконе. Уж не знаю, спал ли он вообще... Ничего не рассказал, ушел очень рано, оставив после себя полную бутылку окурков... Ну, полбутылки было точно! Но суть не в этом. Часа через три вернулся: бледный, лицо заплаканное, весь трясется. Прямо с порога как закричит: «Бабуленька, прости, что я тебя убил!» И в слезы! Я подумала сначала — пьяный. Нет, трезвый. Час не мог успокоиться. Потом прошло, слава богу. Прямо даже не знаю, что и думать. Может, ему моя мама приснилась. С чего бы? Ее уже 20 лет как нету. В любом случае, все это очень непонятно, поэтому вдвойне печально.

На этом закругляюсь. По-прежнему твоя подруга...»

¹ *Джанымдыр* — то же, что «джаным», но в превосходной степени.

ШПАНКА

Моя тетя Малика не поднимается с кровати уже месяц. У нее опухоль мозга в последней стадии: ни химия, ни АСД, ни подсолнечное масло с водкой уже не помогают. Она почти не открывает глаза, не говорит, только еле слышным шепотом дает понять многочисленным родственникам, ежедневно приходящим ее проведать, что все еще их слышит.

Прихожу и я, придвигаюсь на стуле к самому краю кровати, осторожно сжимаю своей левой рукой ее еще теплую правую руку и говорю:

— Как дела?

Больше ничего на ум не приходит. Да и что тут скажешь еще?... Тетя Малика с усилием приподнимает веки и долго, не моргая, смотрит на меня. Как будто узнает. Я с трудом слышу:

— Хорошо, — и тут она вдруг, также шепотом, но почти скороговоркой: — Ты покушал? Там в холодильнике плов — разогрей, холодным не ешь. Потом посуду помой. Ты никогда не моешь за собой посуду. Ты уходишь, а я ночью встаю и мою. Там еще борщ есть. Я вчера сварила. Только он тоже холодный, ты его в печь поставь на три минуты, согрей...

— Хорошо, поем, посуду помою... Спасибо, тетя Малика. Вы скоро поправитесь и с дядей Арсеном придете ко мне в гости. У меня в морозильнике вишня-шпанка, летняя, со своего дерева, вы ее так любите, вот вас она и дожидается. Только поправляйтесь поскорее...

Тетя Малика в знак согласия чуть заметно опускает подбородок на грудь и закрывает глаза. Я сижу еще несколько минут, осторожно поглаживая ее руку. Потом встаю и выхожу в зал.

...Там вокруг стола сидят мои пожилые дяди — муж тети Малики Арсен и брат моей мамы Джамшид. Мама сидит на диване, молчит, ее взгляд застыл на подарочном чайном сервизе, стоящем на шифоньере напротив нее. Больше в квартире никого нет.

Я сажусь рядом с мамой и накрываю своей левой рукой ее теплую правую руку. Она как будто пробуждается ото сна, поворачивает голову в мою сторону:

— Ты голоден? Там в холодильнике есть борщ, сам себе подогрей в микроволновке — у меня сил нет.

Я говорю, что пока не хочу, и начинаю прислушиваться к еле слышному разговору дядей.

— ...Тебе завтра же нужно сходить к председателю махалли и договориться насчет скамеек и курпачей. Думаю, понадобится не менее пяти скамеек, ну и курпачи — сколько будет, — говорит дядя Джамшид.

— Да его еще надо поймать — не знаю, будет ли он на месте, — говорит дядя Арсен.

— Ну, должен быть... Не он, так кто другой, обычно в махалле по вечерам сидят аксакалы. Сегодня уже поздно, а завтра, часов с шести, наверное, будет кто-нибудь.

— А ты можешь со мной сходить? Я же не знаю, что у вас, мусульман, обычно в таких случаях требуется. Вдруг я что-то забуду...

— Да там знают, что надо, ты просто скажешь — на похороны, всё дадут.

— Ну, так ведь это же все тащить надо! Вот я и говорю, пошли вместе.

— Ладно, сходим... У тебя есть телефон председателя махалли?

— Да, должен быть в записной книжке. Действительно, нужно сейчас позвонить, пока спать не лег, и договориться на завтра. Акмаль, сможешь завтра прийти помочь?

Я говорю, что да, конечно, приду.

— Еще надо завтра не забыть напечатать приглаательные на поминки, — продолжает дядя Арсен, листая телефонную книжку. — Я предварительно договорился здесь неподалеку.

— А почему? И сколько хочешь напечатать? — деловито спрашивает дядя Джамшид.

Дядя Арсен, надев очки, старательно жмет на кнопки телефона:

— Да вроде недорого... Алло, алло, Нигмат Турсунович? Добрый вечер, как у вас дела?.. У нас — да все по-прежнему... Я завтра хотел зайти переговорить... Во сколько?.. В шесть?.. А, хорошо, будем, спокойной ночи. — Затем, отключая телефон и снимая очки: — Думаю, штук сто хватит.

— Почему?

— Ну, это зависит от бумаги и качества... Надо цветные напечатать. Но все равно, думаю, недорого выйдет.

— Да-да, обязательно цветные. Хотя и черно-белые, если бумага хорошая, неплохо будут смотреться...

В дверном проеме появляется сгорбленный силуэт тети Малики. Я вскакиваю, следом мама, затем, роняя стулья, — дяди.

— Малика! Ты — как?! — подбегая к своей младшей сестре, кричит мама.

Следом подбегают дяди.

— Ты с ума сошла! — дребезжащим голосом говорит дядя Арсен. — Разве так можно?!

— Ты как встала? — начальственным тоном вторит ему дядя Джамшид.

— Немедленно ложись! — беря за плечи жену, умоляет дядя Арсен. — Тебе нельзя вставать!

— Да, иду, — с закрытыми глазами шепчет тетя Малика и медленно поворачивается в сторону спальни. Ее муж, приобняв за плечи, осторожно ведет жену к кровати, где моя мама уже старательно взбивает подушки.

— А где вишня? — напоследок слышу я. Видимо, только я, потому что дядя Арсен лишь непрерывно повторяет:

— Тебе нельзя... Нельзя вставать, что же ты с собою делаешь?..

Через полчаса мы с мамой и дядей Джамшидом обуваемся в прихожей.

— Ну, значит, договорились, — прощаясь с хозяином дома, вполголоса говорит дядя Джамшид, — завтра в шесть мы у тебя...

ПОЭЗИЯ



Александр Кабанов

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСХОДА

* * *

Я ехал ночью на арбе —
по новой книге, и порою
минуты жалости к себе
испытывая, как к герою.

А сам герой дремал в пути,
похожий на больную птицу,
и лошадь фыркала в степи,
переступив через страницу.

Где шрифт для молодых очей
и звезды меньше нонпарели,
здесь пахло кровью от свечей,
что, вместе с храмами, сгорели.

Мы проезжали вдоль руин,
касаясь линии сюжета,
среди противопехотных мин,
по краю без конца и света.

Герой сидел ко мне спиной,
арба скрипела слово в слово,
читай: он вез меня домой,
я чувствовал себя хреново.

Не потому, что был без ног
и в мясорубке чуть не сгинул,
а потому, что светлый бог —
меня, солдата, не покинул.

И вот, закончилась война,
и мир находится на сдвиге,

а дома ждет меня жена —
беременна, согласно книге.

Скрипит библейская арба,
и небеса обиты жостью,
и непорочная судьба
стучится в дом с благою вестью.

И видится счастливый миг
для собирания народа,
и это будет книга книг
и завершение исхода.

САМОКАТ

Ты увидишь закат уходящего дня:
декаданс, что на краски богат,
и за то, что ты все-таки любишь меня —
я тебе подарю самокат.

Ты наденешь на голое тело опять —
тот прозрачный насквозь дождевик:
и твою наготу у тебя не отнять,
я — пытался, а дождик — привык.

Самокат — я достану его из воды,
из степного огня своего,
мы поедем в кино сквозь ночные сады,
но вначале — зарядим его.

Мы поедем вдвоем, невзирая на тьму,
ты — нацеливай руль на звезду,
ну а я — пассажир, я тебя — обниму
и в твое вдохновенье войду.

И вот так: через время, пространство и смерть,
мы проложим чудесный маршрут,
и никто, кроме нас не способен посметь —
выкрасть вечность на пару минут.

И внутри этой пары минут — замереть
на ходу, как внутри янтаря,
а вокруг — небеса продолжают гореть —
на своем языке говоря.

Вот и снег подошел, собираясь упасть,
и от зависти вдруг побелел,
и у нынешней власти — пиковая масть,
а у будущей — сердце для стрел.

Мы с тобою — одни, воскрешенные вновь,
и все ближе звезда впереди,
это — наш самокат, это наша — любовь,
и ребенок прижался к груди.

* * *

Подари мне светлый локон —
с головы своей печать,
и открой алмазный кокон,
где ничем меня не взять.

Чтоб я в коконе упругом —
погрузился в снежный дым,
вместе с новым старым другом —
светлым локоном твоим.

Закипает время в тигле,
и наверх всплывает грязь,
раньше — волосы не стригли,
чтоб не потерялась связь.

С нашей православной верой,
сердцевиной высших сил,
с чистым небом, с ноосферой,
с тем, кого я так любил.

* * *

Дело было в декабре или в апреле:
джона леннона убили на дуэли
за наталию гончарову йоко оно,
но вначале было слово поименно.

И его похоронили в мавзолее:
время оно становилось только злее,
и арина родионовна у нади,
у надежды константиновны — в помаде.

Наступало время раз и два развалин
и от рака легких умер ринго сталин —
оторвалась от маккартни пуповина,
то ли флора, то ли флор герцеговина.

Все, что вы сегодня прочитали выше, —
это хаос, это пропасть, это ниже,
там, где радуга становится мишенью
к семицветному, увы, кровосмешенью.

Так хитро и так печально для народа —
по-булгаковски тасуется колода,
так в народ и в наши души въелись гады,
что архангелы обманываться рады.

Если я для вас, спасенных, что-то значу:
позабудьте обо мне на всю удачу,
бог смеется надо мной, а я не плачу,
я не плачу, я не плачу, я не плачу.

* * *

Где ласточки висят втроем
и вялятся таранки:
давайте с ними воспоем —
сирень в литровой банке.

На подоконнике, в пустой
столовой без буфета,
как много было в банке той
задолго до букета?

К примеру, если брать отцов
от альфы и омеги,
в ней обитали огурцов
библейские ковчеги.

Затем варенье из айвы:
вкуснее нет варенья,
оно закончилось, увы,
в эпоху вырожденья.

Был чистый спирт в обмен на мед,
под крышкой из капрона,
пришел, нет, прибежал черед
вина и самогона.

Покашливая, жизнь текла,
сквозь капельницу в «дурке»,
чтоб после, в храме из стекла —
хранить свои окурки.

Сутулясь, выбритый под ноль,
садился век устало
на корточки; жалея соль,
хранили в банке сало.

Воскреснем и не будем врать,
пусть смерть воротит рыло:
пора, пора, мой друг, собрать,
что в этой банке было.

Вот-вот окончится весна:
гудят пчела и овод,
а где сирень — она важна,
она — чудесный повод.

Чтоб жить и праздновать три дня
свободному народу,
но все, что пьется без меня —
бог превращает в воду.

* * *

Пустота, убери свой локоть
и верни золотую рыбку:
постоянно хочется плакать —
так, что трудно сдержать улыбку.

Между слов, оставаясь с носом
и покашливая ковидно:
пустота — это ноль с вопросом
плюс вообще ничего не видно.

И когда ты разводишь руки —
из тебя выпадает слово,
словно маленький ключ от муки
до объятия башлачева.

Пустота может быть связною
между теми, кого ты ценишь,
но безмолвием с тишиною
ты никак ее не заменишь.

Не пустыни скупое зренье:
то змея промелькнет, то птица —
а ничто, как стихотворенье,
в коем — не за что зацепиться.

Там, где я от любви немею,
разбавляя живой водою:
всю мою пустоту с твоею,
прости господи, пустотою.

* * *

Тишина на обед состоит из повторов,
если нужен кому-то повтор,
это страх дребезжания столовых приборов:
алюминий, стекло и фарфор.

Слышно, как за углом придушили иуду,
нынче — переизбыток иуд,
но такое, мой милый, бывает повсюду:
беспредел с переменою блюд.

Да, везде и повсюду врагов убивают,
а затем, убивают друзей:
то ли в морге победу свою обмывают,
то ли мумию вносят в музей.

В рыбный день, за ухую, в беседках судачат,
как роскошно поют соловьи,
и повсюду, под красною скатертью прячут —
черно-белые руки свои.

И везде санаторий — чуть-чуть лепрозорий,
где смешались лекарство и яд,
где в столовой заварен бесплатный цикорий,
и цыганочка с выходом в сад.

Этот мир бесконечных дверей в общепите
и подвалов, где сырость и мгла,
здесь я жизни своей предложил: проходите, —
и она, без оглядки, прошла.

БЕГЛЕЦ

О, флоренция, в нашем веке
о тебе размышлять в фейсбуке,
оказавшись на понте-веккьо,
между двух берегов разлуки.

Где свобода мочой воняет
независимо от прогресса,
это бес меня изгоняет,
или родина в роли беса.

Изгоняет меня повсюду,
где я только пристрою спину,
заключает меня в посуду,
воплощает в стекло и глину.

Я иду к электронным кассам,
надо мною господь вещает,
я вмещаю ее с запасом,
а она меня не вмещает.

Здравствуй, родина, в бога душу,
с червоточиной в горизонте,
и торчит мой язык наружу,
вспоминая о веккьо-понте.

* * *

Кустарная в колючках проза,
цветущая со всеми врозь,
как в реквиеме — лакримоза,
как часть звучания насквозь.

Ее не учат в средней школе:
среди планшетов и бумаг,
ее ничем ни срезать боле,
а только — вычеркнуть в овраг.

Да кто сейчас читает пэров
и сэров позапрошлый век,
в дизайне новых интерьеров —
нет места для библиотек.

И лишь поэзия не пашет,
не добывает соль с рудой,

а, сняв штаны, на сцене машет
своей бесстыдной ерундой.

Она, что муха на мольберте,
в акрил впечатана до дна,
а проза жизни или смерти —
написана и прочтена.

ИТАЛЬЯНСКОЕ

Птичка сдохла, скажи охране —
пусть не ищут меня на фронте:
я вернулся в свой дом в тоскане,
а закончу свой путь в пьемонте.

Пусть сбегает сатира в юмор —
гобеленами ей дорога,
потому, что для всех — я умер:
для войны, для стихов, для бога.

Над садами спадает пена
из цветов и ночного снега,
и весенний, как вальс шопена,
мир готовится для побега.

Вечер чиркает длинной спичкой —
сочиня огонь в камине,
можно чай размешать кавычкой
и бутылку открыть отныне.

Разминирован берег моря
от медуз, не готовых к бою,
но осколок людского горя —
я под сердцем унес с собою.

И когда меня обнимает
старый друг, не кривя душою, —
из моей груди выпирает
что-то страшное и большое.

Наталья Резник

СЫРАЯ ВОДА

* * *

Виталию Шнайдеру

Человек живет вечно, пока живет,
Вечно человек планирует наперед.
На завтра, следующий месяц, будущий год.
Ведь завтра-то наверняка не умрет.

А завтра остается он во вчера,
А где он был — пустота, на месте его дыра.

Только для не получивших весть
Он все еще жив, все еще где-то есть.

Но его уже нет.
И его не создать из некрологов и эпитафий,
Его не сложить из писем и фотографий.

А ты по привычке думаешь наперед:
Что он скажет, когда прочтет?
А он уже не прочтет.

* * *

А помнишь нашу улицу Тверскую,
Где юность расцвела и умерла?
10-й «А», я по тебе тоскую.
10-й «А», ну как твои дела?

Ты в майские отправишься на дачу
И выпьешь там за подвиги дедов,
Пока я на другой планете плачу
Вдали от огородов и садов.

Ты будешь горд, что наши победили,
 Что гром победы яростно гремел.
 Как долго мы все это проходили,
 Как ты мгновенно все забыть сумел!

А я к тебе протягиваю руки
 Туда, где ты стоишь к плечу плечом,
 А у тебя хозяйство, дети, внуки
 И телевизор до ночи включен.

Ты в прошлом уклонялся от призыва,
 Стремительно состарившись потом.
 Мой бедный класс советского разлива
 Не воевал. Спасибо и на том.

* * *

Женщина с тушью, размазанной по лицу,
 Плачет, что ей уже не идти к венцу,
 Не рожать детей, не целоваться в саду,
 Не сдавать выпускных в покрытом пылью году,
 Не бегать за мальчиком, которому не нужна.
 Плачет о том, что сама эта мысль смешна,
 Плачет, что ей спокойно и хорошо,
 Дождь ли прошел или поезд ее ушел,
 Что она всегда теперь беззаботна и весела,
 И даже печаль, черт побери, светла,
 Что прекрасно все: горы, земля, трава,
 И дважды два по-прежнему дважды два.
 Плачет, что жизнь не укладывается в слова —
 Так прекрасна. Все прекрасно, пока жива.

* * *

Мой дом плывет вдали от ваших родин,
 Не прикасаясь к вашим берегам,
 От верности отечествам свободен,
 Любви к богам.

В нем места нет для истовых молений,
Не будет для распятия гвоздей,
И нет трибуны в нем для восхвалений
Любых вождей.

Его мотает злобная природа,
Ему случайный ветер стены гнет,
Но к вам, жестоковейные народы,
Он не примкнет.

Кто бросил якорь, вышел на причале,
Тот праведно и правильно живет.
Мой дом в пути, еще в его начале
Плывет...

* * *

Нельзя из-под крана пить в Ленинграде воду.
Микробов напьешься невских — беги к врачу.
А мне, пожалуйста, предоставьте свободу
Пить из-под крана воду где и когда хочу.

Нельзя изменять супруге или супругу.
Будешь потом в аду на себя пенять.
Так говорят люди нашего круга,
Кому не с кем или некому изменять.

От любви к Родине человек несвободен,
Не избежать, говорят, этой любви катка.
А я брошу любую из ваших любимых родин
Ради сырой воды одного глотка
Где и когда хочу.

* * *

Надежды праздничные пропили,
Других уже не подаем.
А умираем, будто в опере:
Сопровивляемся, встаем.

Ах, как же хочется не кончиться,
А продолжаться на земле.
Как жизни радоваться хочется,
Будь ты хоть черт на помеле.

Мне в википедиях не числиться,
Пою и двигаюсь не в такт.
Но пощади меня, бессмыслица,
Не приближай последний акт.

Моей душе противна мистика.
Нет Бога, Боже сохрани!
А ты, земная абсурдистика,
Повремени, повремени!

Не жду знамения ответного,
Но в отраженье узнаю
И сына своего бессмертного,
И дочь бессмертную мою.

Дмитрий Тонконогов

ИЗ КНИГИ «УМНОЖИТЬ НА ДЕСЯТЬ»

* * *

Мой одноклассник служит в мафии
каким-то важным заместителем,
Наверняка в бассейне с кафелем
убил кого-нибудь с глушителем.

А был когда-то возбужденный
кометой Эдмунда Галлея,
крутил свой телескоп зеленый
и спотыкался о гантели.

Однажды мы в отделе «Фото»
районного универмага
искали что-то для чего-то.
Нас задержал майор Малага.

Он был уже без ядовитого
уничтожающего жала.
Комета в небе ледовитая
конец режима приближала.

Майор забрал все фотографии.
Нам было по тринадцать лет.
Я видел мертвого Каддафи,
а он меня не видел, нет.

СКАЗКА

Рыбы, добровольно вышедшие на берег,
будут размещены
в пансионате «Лесная сказка».
Тверская область,
сто двадцать четыре метра над уровнем моря,
трехразовое питание,
одноместные номера.

Круглосуточно доступен
патриотический караоке-бар
с просмотром
телевизионных передач.

Глубоководные особи
могут приобрести
специальные очки
с расширенной функцией рыбьего глаза,
меняющие мир
с корабля на бал.

Океаническим сельдям
предоставляются корсеты
для прямолинейной ходьбы,
расписанные хохломскими умельцами.

Семейству тресковых
рекомендуются
русские народные
оздоровительные игры:
«Бояре», «Двойные горелки»
и «Ловишка-козлик».

На территории пансионата разрешены:
курение ладана и других устройств,
генерирующих аэрозоль,
хранение и сбыт кубиков Рубика,
чтение стихов Натана Злотникова,
а также пляска святого Витта по четвергам.

Администрация надеется
на скоропостижность
вашего пребывания.
И оставляет за собой право
на свободу лова.

ЖИЗНЬ С ЭСТЕР

1

Кто этот третий,
что фотографирует влюбленные пары
на берегах голубых озер?
Красивые, симметричные лица эти,
идеально чистые ногти, им костер
лично разводит некрасивый Сварог.
А ночью сам же пристраивается между ног.
И дева, белоснежная, как простыня,
отлетает в немыслимые ебенья,
пока не выстрелит тостер,
подключенный к утренним облакам,
к электрическим их бокам.

2

Боевая Мальвина любит бандитов —
живых, одноруких и даже убитых.
Горе, говорит, мне от ума,
думаю и делаю за них все сама,
они же как дети, только герои,
особенно последние трое.

3

У Наташи глаза Сальвадора Дали,
обстоятельная попа
и платье до самой земли.
Тараторит голосом и рукой:
есть на свете волшебный цветок такой,
расчетное время прибытия до цветка
мы не знаем пока.

4

По возможности избегайте
встреч с детьми-следопытами.
Вы их узнаете по синим галстукам,
что к ним пришиты.
Каждый помнит свою фамилию, звание,
номер квартиры.
У них всегда соревнование
или тренировка по ориентированию.
Они вываливаются из кустов
с расцарапанными носами.
Хищно озираясь, перебегают овраг,
кричат: не следите за нами.
Иначе никак.

5

Сегодня Эстер умерла.
Лежит, завернутая в носовой платок.
Над нею порхает серьезный бабочкин бог,
поет маленькую молитву,
обращенную к себе самому.
Но я ее не пойму.

ВСЕ ГОВОРЯТ, И Я ГОВОРЮ

*Постмодернистское эссе в стихах
о русской литературе*

Как говорил Гаспаров, поэзия — это концентрированная речь.
Если хотите из этой речи эссе извлечь,
как говорил Вадим Муратханов на бишкекском рынке Дордой, —
каждый катрен просто разбавь водой.

Люблю Гоголя Николая Васильевича и его «Вия».
Русская литература, говорят, неряшлива за столом, но другие
утверждают, что она неприхотлива в еде, что, в общем, не грех.
Но Гоголь переиграл всех.

Он же девственник, писал обиженный Белинский Боткину, рукоблудие
до чего только не доводит, ой-ой-ой, добавлял он, то ли еще будет.
Но обратится к «Вию», мог бы неискушенный муж небольшого роста
сцену русской литературы создать самую плотскую?

Семинарист Хома, скачущий на ведьме в разных вариациях.
Вот вам пруфы, как говорит молодежь, мы же говорим — иллюстрации.
Ох, не могу больше, кричит ведьма. И падает на землю по закону Ома.
Гоголь был одинок, но выходил из дома.

Как знать, может, и на самом деле
многие вышли из гоголевской «Шинели»,
хотя Достоевский (поэтому трудно жилось ему)
вышел из шубы боярыни Морозовой Феодосии.

А Толстой, царство ему небесное, как говорил Хармс,
вышел сам из себя. И у вас есть шанс
тоже куда-нибудь выйти, например за закускою в магазин.
Вот потому мне и кажется, что я остался один.

Мария Игнатьева

В ТИСКАХ НЕВЕДОМОГО ЧАСА

* * *

Начинается: «жили да были» —
Деревянная сказка, вранье.
Начинается: жили да выли
Про дремучее время свое.
Вот и мы теперь тут поживаем,
Волочась костяною ногой,
И самих себя воображаем
Персонажами сказки родной.

* * *

Вернуться. Топтаться в прихожей,
Вчерашний начать разговор.
И речь уже не похожей —
На братьев моих и сестер —

Не надо, не плачьте, я дома —
Смотрю, узнавая живых,
Но лица пусты, незнакомы,
И сердцу не больно от них.

* * *

Не знай ни радости, ни горя,
а знай смотри себе кино —
изображаемого моря
воображаемое дно.

Вон в окровавленной шинели
явился снова ужас дней
виденья Иова страшнее,
виденья Арджуны жирней.

Живя у хаоса в парадной,
прелестных баловать внучат,
пока так зло и безотрадно
с экрана новости звучат.

Взирать как можно отрешенней
на игры нашего царя:
в ином каком-нибудь зоне,
вестимо, все это не зря.

Смотри на пушечное мясо
глазами крошечных детей
в тисках неведомого часа
известной участи своей.

* * *

Как будто всех сюда свистали,
хоть из дому не выходи:
бредут рассеянные стаи
охотников на Гауди.

Но среди ярких и безликих,
как модернистское яйцо,
вдруг сквозь безумие окликнет
иное девичье лицо.

В кольце гогочущих подружек
глядит куда-то в никуда
так тонко, нежно и недужно,
как только в лучшие года.

Цветные тени на планшете
в живую жизнь перенести —
подруг, родителей и эти
достоприме-печальности,

Но нет: на плоскости экрана
лишь отражения теней,
И удивляешься, как рано
здесь показали правду ей.

* * *

Если б только на десять минут
 Мы смогли отложить попечение
 О земном, как святые поют,
 Мы бы вышли к иному сечению
 Наших буден, в которых темно
 Прижимаются лица к событиям,
 И занятие жизнью равно
 Равнодушно-бесстыжим соитиям.

ХРИСТУ РАСПЯТОМУ

Испанский анонимный сонет XVI века

Люблю Тебя не потому, что надо,
 когда умру, мне небеса увидеть.
 Не потому боюсь Тебя обидеть,
 что мне за то грозят все муки ада.

Ты сам, мой Бог, моей любви награда.
 Когда Тебя я вижу в рабском виде —
 вся в язвах плоть и крест в кровавых нитях,
 мне смерть Твоя — горчайшая утрата.

Вот что в конце концов меня сражает:
 Твоя любовь. И вот в чем Твоя сила.
 Я ада не боюсь, не жажду рая,

верней, боюсь и да, спасенья чаю,
 но как бы ни были мне чаяния милы,
 я б и без них всегда Тебя любила.

* * *

Вымучив послушную улыбку,
 Здесь, в иных подробностях, учу
 Быт, обожествляющий ошибку.
 Я сама не слышу, как молчу.

Ветви перевившихся растений,
Сумеречный свет на рубеже
Сновиденья — в разговоре с теми,
Кто меня не слушает уже.

* * *

А. Г.

В чистой простоте евроремонта —
Белого больничного листа,
Тишина уныло и дремотно
В капельницах света разлита.

Если и не госпиталь, то «боинг»,
Под крылом — обрывки небылиц:
Те ковры на стершихся обоях,
Плавники тех шатких половиц.

Третьим поколением затрепан,
Как роман Доде или Золя,
Воздух тот, где непрерывный ропот —
Рокот холодильника «Заря».

* * *

Здесь я. Вернулась. На несколько дней.
Вот и автобус такой же, и номер
Тот же. Зима глинозема черней:
Снег в одночасье родился и помер.
Сходит и жизнь, истомясь на путях
Вечно бессмысленного переезда,
Точно стыдится себя в новостях
Памяти — и уступает ей место.

Игорь Иртеньев

ХОРОШО ЖИЛОСЬ НАМ ПРИ ЦАРЕ

* * *

Мы познакомились случайно
В те непростые времена,
Как государственная тайна
Была загадочна она.

В ее глазах мерцало что-то,
Что не опишешь в двух словах,
Как ощущение полета,
Когда тебя послали нах,

Причем не просто, а пинками,
И не во что-нибудь, а в зад,
И ты летишь под облаками,
Хотя бывает, что и над,

Лишь с божьего благословенья,
И вышней волею небес,
Причем с властей соизволенья,
Хотя бывает, что и без.

* * *

Хорошо жилось нам при царе,
Близко, прямо скажем, к идеалу,
Лето, сколько помню, на дворе,
Круглый год практически стояло.

Девки были все как на подбор,
Только б довести до сеновала,
Если глад случался или мор,
Это нас не сильно волновало.

Закрома ломились от зерна,
В моргах места тоже всем хватало,
А война... ну да, была война,
А чего здесь только не бывало.

* * *

Предания глубокой старины,
Ея святыни,
Как дедовские старые штаны,
Мне впору и поныне.
Ни в поясе не жмут,
Ни трут в шагу,
А если что, дадут
Отпор врагу,
Как сотни лет
Давал мой дед.
Одна беда — им сносу, сука, нет.

* * *

Я сроду не играл в орлянку,
По пьянке вдрызг не рвал тальянку,
Не славил потную портянку
Букетом пышных од,
Судьбу не искушал индейку,
Считал ничтожную копейку,
Чтобы по мере сил семейку
Сберечь в голодный год.

Я просто скромный сочинитель
И строк во строфы сочленитель,
Но если в мирную обитель,
Где исстари живу,
Хоть кто-то вломится без стука,
Кто б ни была бы эта сука,
То — опыт мой тому порука —
Моментом пасть порву.

* * *

А помнишь ли скажи-ка, мама,
Когда ты, вместо Колобка,
Читала в детстве Мандельштама,
Мне, охувшему слегка.

А помнишь ли, скажи-ка, дядя,
Что нам сказал с тобою Блок,
Когда к нему ты, на ночь глядя,
Однажды Тэффи приволок.

А помнишь ли скажи-ка тетя —
Тому свидетель тот же Блок —
Как Эккермана вместе с Гете
Ты не пустила на порог,

Что было крайне нелюбезно,
Хотя давно понять пора,
Что все вопросы бесполезны —
Никто не помнит ни хера.

Михаил Шерб

ЯГОДА-СМЕРТЬ

* * *

Отделяя от птицы пение и полет,
Набухает железо, лопается, цветет.
Стая окон, взлетев, превращается в рой осколков.
Ураган, цепляясь за грунт из последних сил,
Ось симметрии выгнул, перекошил,
Словно хлебные крошки, строенья смахнув с пригорков.

Сводный хор скорбящих людей и зверей живых
На разорванный воздух криком наложит швы,
Но замолкнет вскоре, запутавшись в огласовках.
И опять над пожухшей травой сомкнется синь.
В опустевших дворах — ни наволочек, ни простынь, —
Только дым повис на бельевых веревках.

ВАРЕНЬЕ

*Садок вишневий коло хати,
Хруці над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.*
Т. Г. Шевченко. В казематі

На рассвете кусты выбегает полить Фома,
По бурьяну струя хлещет прямой наводкой.
Там, где влага упала, расцветает цветок-чума:
В колокольчатой чашечке плещется царская водка.

Сгнили звезды, как вишни, когда горизонт померк.
Скошен стебель под горло, все травы пошли на силос.
Лишь цветок-чума вызревает в ягоду-смерть.
Как же много ее теперь для нас уродилось!

Собирать урожай выйдут бабы на край села,
 «Вітре буйний», — спюют, да прошепчут: «Кохаяу, любий!»,
 Похоронят надежду, — скорее б она взошла,
 И наварят варенья, чтоб мертвым помазать губы.

ТРИ ТЕКСТА

1.

Он говорит: «Я понял однажды и принял, как истину, что абсолютно каждый: и молодой солдат, умирающий на поле боя от ран, и ветеран, умирающий в старости от инсульта, и какая-нибудь чернокожая женщина, последовательница культа вуду, угасающая от лейкемии, и трехлетняя девочка в России, прозрачная кожа нежнее пушка мимозы, сгорающая от инфекционного туберкулеза, — все они, обитавшие раньше в лачугах, домах или многоэтажках, узнают о себе нечто очень важное в самый первый момент смерти. И это знание, словно марка письму в конверте, придает законченность и значение всему пережитому».

Он говорит, что сперва, впадая в кому, бредешь по пустыне посмертия, утопая примерно на треть тела, которого, впрочем, нет, в некоем войлоке. Пытаешься не смотреть вверх, но не видишь свет, поскольку безглаз, и у зора теперь нет век, чтоб закрыться спасительной пеленой.

Он говорит: «Тогда надо мной всходили вроде небесных светил лица живых и умерших, всех тех, кого я знал и любил, и каждое было словно бы светлый овал. Я молился на эти лица, и страх отступал».

Он говорит, что слышал их быстрые голоса, глядел им в глаза, но потом перед ним возникла черта, пограничная полоса, за которой не виден цвет и не слышен глагол, и, якобы, он тогда и эту черту перешел.

Там, за чертой, все его мысли представлялись в виде чисел и формул, а чувства его и дела — как предметы простейших форм и даже как абстрактные светлые и темные пятна. Впрочем, тут его речь становится вовсе невнятна.

Он говорит напоследок: «Затем наступил хеппи-энд. И взамен слабой веры в бессмертье я приобрел нерушимую веру в момент смерти».

2.

Все происходит буднично: слышишь громкий хлопок.
Сосед начинает клониться на правый бок,
Пытаясь фантик поднять, валяющийся на полу.
Потом замечаешь вдруг небольшую дыру
В спинке сидения прямо перед собой,
И осколок металла в обшивке рядом с дырой,
Затем — миллисекундный сбой,
Потом что-то влажное чувствуешь над губой,
Думаешь: надо бы вытащить из кармана платок,
Но уже распускается теплый алый цветок,
Тянется к ребрам, за лепестком лепесток
Засыхает на коже, блестит на свету, словно лак,
И виски стучат в унисон, словно есть лишь один висок:
Это лопнула шина, а ты испугался, чудак,
И на коже не кровь, это от солнца мазь,
Это лопнул мир, это бомба разорвалась.

3.

Ветрами, словно оспой,
Изрыт речной гранит, —
Пчелою медоносной
Печаль над ним звенит.

Закат дрожит и рвется,
Натянут на колки:
Последний проблеск солнца,
Прощальный взмах руки.

Темнеют мостовые,
Тускнеют двор и сад,
Лишь окон пулевые
Отверстия кровят.

По этим алым меткам
Теней нисходит рать,
Спешит к вольерам, клеткам, —
Зверье свое обнять,

Пока закат над нами
Посмертья кокон свил.
Касание губами.
Прикосновенье крыл.

Сергей Золотарев

ФАНТОМ-МАНЕКЕН

1

Гоголь «поплыл» — он невзлюбил обноски
имени рода Яновских.

гений не принимает пищу
и вообще никого.
что тут попишешь?
Гоголю — гоголево!

дышит прерывисто
мыслит обрывочно
скажем так — начистоту!
с картой прививочной
лег на тахту

дайте Гоголю ртути!
дайте ему каломеля!

у земли на батуте
не страшней, чем в постели

2

сел за письменный стол
(мы-то знаем он любит конторку)
(Александр Петрович Толстой
упустил сей момент — и не только...)

начал так:
 посвящается обезьяне
 Бога «Выбранные места
 из переписки с друзьями»:

«Мы живем не давая в нас свету взойти
 я уверен что миру и нам по пути
 и любой непредвиденный случай
 стал несчастным желая быть лучше

если дать развиваться предметам самим
 мы увидим что всякий износ — серафим,
 что не рвется в том месте, где тонок,
 но вращает ряды шестеренок.

Если вынуть из мира ту порчу очаг,
 что собой представляет — живущий в очах
 человеческих — собственный выбор,
 перед ним замаячит верлибр!

Этот версус свободы, безумный макабр,
 вещество разрушенья, куда и Макар
 не гонял дистиллят, аритмия,
 Саломея с пластичностью змия!

Осознать этот танец в себе по весне
 как в пенсне на носу задремать и во сне
 до размеров немислимых млечных
 увеличить обыденный глечик...»

*Николай Васильевич встал
 он устал*

и тут же мысль толкается, что Нос
 не просто мыс, вдающийся в безмерность,
 но тела часть, где выдохом пророс
 сквозь душу отлетающую — эрос

пред выходом в открытый макрокосм

3

приезжал Тарасенков:
предложил счетчик Гейгера
повесить на стенку —
что-то не так с гением

пейте только вино,
ведь радиационный
фон теперь заодно
с верой традиционной!

Чувствуют силищу,
приходящую через слабость
к Николаю Василичу,
московские эскулапы-с.

Перспективу туманную
видя выздоровленья,
окунают в холодную ванную:
из туннеля — в тюлени.

Николай Васильевич Гоголь
на глазах у светил
медицины в светящийся кокон
превращается — чистый этил.
Словно кого простил.

Окруженье его принимает вид
геостационарных орбит.

Содержание стекол оконных —
словно топливо блоков разгонных.

4

Гоголь мочится
в чашку свою коленную,
Гоголь молится,
смотрит в ночную Вселенную,
как за околицу —
молится.

Время и гравитация
связаны воедино.
Господи! святотатца
прими в Свои Палестины!

Дай мне немного времени,
освободив от массы,
вырастить оперение
смертного часа.

Где в невесомости
всех орбитальных станций
чем в пустоту не высовываться,
легче уже оправдаться.

Где бы я — без зазрения
совести — сжег тетради
(думал сказать — творения) —
прописи, бога ради!

Чорт, что и слал дурацкие
дьявольские картины,
мне диктовал по рации
координаты ино-
странного легиона;
имя ему — полубог!..

— Вот ты где, голубок! —
входит молитва — лезвийцем
бритвы лоснится острым —
так и не принял постриг...
может под полубокс?
— Лестницу!
Скорее давайте лестницу!

Слышно сквозь сладкое пенье:
— здесь только три ступени —
аксиос ортодокс!

5

Ангельские ВАИ
пальцами у виска
светят в лицо — свои!
Камешек, пропускай!

И впервые, как будто с командой
отпустить заключенного,
произносится слово «скафандр»
за неимением оногo.

ЭПИЛОГ

*при вскрытии могилы
комиссией 31 мая 31 года
был обнаружен фантом-манекен —
модель человека
из смолы опилок и зерен пшеницы
именно такой состав лучше всего подходит
для радиационной проверки будущих космонавтов*

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Александр Вейцман

НАБОКОВ В КОРНЕЛЛЕ

Глава из романа

1.

Каждое утро начиналось одинаково: Вера будила мужа, готовила крепкий чай и подбирала галстук к его пиджаку. Он, не приспособленный к бытовым мелочам и не слишком внимательный к внешнему миру, доверял ей абсолютно. Она же, молчаливая и точная, была не только его помощницей, редактором и машинисткой, но и главным посредником между ним и университетом.

Когда наступал ноябрь, Итака становилась по-настоящему набоковской. Воздух плотнел и казался прозрачным, словно его только что перелили из лабораторной колбы. Тусклое солнце вырезало на крышах длинные, точеные тени, и даже редкие прохожие двигались как будто осторожнее, будто не хотели потревожить тонкую, хрупкую тишину, протянутую между голыми деревьями, дверями кампуса и резкими криками ворон.

Дом Набоковых на окраине Корнеллского городка был невелик: двухэтажный, с облупленным крыльцом и аккуратной оградой. Он был полон книг, пишущих машинок и коробок с коллекциями бабочек. По вечерам, после лекций, Владимир отправлялся к письменному столу — работать над романом, писать письма, делать карточки для будущих глав. Вера, всегда неподалеку, курила и читала рукопись вслух, мягко поправляя оговорки или помарки. Они жили как единый организм — слаженный, ироничный, немного театральный.

Будни были как партитура: Вера открывала день с аккуратной скоростью метронома, проверяя, что лежит в портфеле мужа — список студентов, красный карандаш для пометок, сложенная пополам бумажка с фразами, которые он сочинил ночью. Она знала, что если Владимир ее вдруг не найдет, то будет раздражен до обеда.

Когда в Корнелле выпадал первый снег, тишина сгущалась особенно проникновенно — такая, в которой слышно не только как хрустит лед под ботинками, но и как вращаются шестеренки мыслей. Именно в такой тишине, ранним утром в начале

ноября 1954 года, профессор Владимир Набоков мог выйти из дома, придерживая шляпу и сжимая аккуратно перевязанную папку с лекциями о русских классиках.

Впрочем, он не всегда ходил пешком.

Вера водила машину — блестящий Oldsmobile с широким капотом, из-за которого ей приходилось сидеть на краю сиденья, едва доставая до педалей. Она возила мужа на лекции, на собрания кафедры, в библиотеку, в аптеку, в продуктовый магазин. Он не водил сам — считал это опасным и бессмысленным занятием, не стоящим отвлечения от мыслей о бабочках, Пушкине и Флобере.

Он не умел — и не хотел — становиться заложником быта. Профессор Набоков был величественно беспомощен в вопросах жизни, существующей вне языка. Он не оплачивал счета, не умел обращаться с домашними электронными приборами и не представлял себе устройство автомобиля. Для него реальность существовала в четырех измерениях: слове, образе, мысли и памяти.

Все остальное было делом Веры Евсеевны.

Автомобиль был ее царством. Вера садилась за руль, как офицер на боевой пост — спокойно, без слов, точно зная, что путь займет 17 минут, что сегодня ветер дует с запада и что Владимир, как только они повернут за угол, обязательно скажет: «Посмотри, как обрезали кусты. Варварство».

Он занимал место рядом — не как пассажир, а как наблюдатель. С портфелем на коленях, в шляпе и темных очках, даже в пасмурную погоду, он всматривался в деревья, вывески, прохожих. Мог внезапно наклониться вперед, чтобы разглядеть вывеску на бакалейной лавке, или, наоборот, откинуться назад и закрыть глаза, произнося вслух странные, полузабытые строки:

— «И ты, измученная скрипка...», — затем пауза, — это ведь Бальмонт, да?

— Володя, — сказала Вера, не поворачивая головы, только чуть сильнее сжав руль, — мы едем на почту, если помнишь. Точнее, не помнишь, но я напоминаю.

Прошло около недели после того, как она его застала с той странной рукописью; увы, но ей казалось, что Набоков стал еще более рассеянным, чем обычно.

Он не ответил. Продолжал смотреть в окно, будто в рябом стекле проплывали образы не Корнелла, а Царского Села.

— И потом лекция в четыре, — добавила она. — Пойдешь пешком? Думаю, пойдешь. Тебе нужно проветриться.

— М-м-м, — отозвался он рассеянно. — Пешком? Да. Или не пойду вовсе. Или вместо лекции напишу ее заново.

— Только ты можешь сочинять лекцию вместо того, чтобы ее прочитать, — сказала Вера, но не язвительно. Скорее устало. У них это давно вошло в тон общения: он — абстракция, она — якорь. Он — из слов, она — из маршрутов.

Oldsmobile мягко покачнулся на повороте. Они ехали по знакомому маршруту: вниз по University Avenue, мимо серого корпуса, где проходили его лекции. А затем — скучная американская улица, бледный ноябрьский день, грузовик у обочины с надписью Heating Oil, два велосипедиста в касках.

— Когда мы вернемся, — сказала Вера негромко, чуть медленнее, чем обычно, — я хочу с тобой поговорить. Внимательно. Не между строк.

Он все-таки повернул голову. Посмотрел на нее. Не испуганно, но настороженно.

— Это о чем?

— О письмах. И вообще. Не бойся, не катастрофа. Пока.

Он ничего не сказал. Вернулся взглядом к окну. Повернул голову еще немного, как будто хотел разглядеть свое отражение в боковом зеркале — и не нашел. Или не узнал.

Вера не добавила ни слова. Она хорошо умела молчать, когда нужно. Гораздо лучше, чем он. Машина приближалась к почте. За углом — крыша почтового здания. Почта, как и их брак, работала по расписанию, вне зависимости от погоды, политики и поэзии.

Когда они свернули на стоянку, Вера припарковалась строго между линий. Заглушила мотор. Сняла перчатки.

Почтовое здание было все тем же: угловатое, с облупленной бело-синей вывеской, пахнущее картоном, пылью и старым клеем.

— Сейчас я вернусь, обещаю, что не больше десяти минут, — сказала Вера и захлопнула дверцу.

Он остался в машине. Ждал. Смотрел, как у входа в почтовое здание проходит женщина с двумя детьми, как голубь топчется на скамейке, как кто-то закуривает у газетного киоска.

Вера вернулась действительно быстро — с плотным коричневым пакетом в руках. Пакет был запечатан, но он знал, что внутри письма. Много писем. Чем старше он становился, тем чаще ему писали, хотя сам он отвечал крайне редко. Раз в две

недели они с Верой совершали вояж на почту, чтобы забрать толстый пакет с сотней-другой эпистолярных посланий.

Она села в машину, пристегнулась. Ни слова не сказала. Он тоже промолчал.

Мотор заурчал, и они тронулись в обратный путь. Все было, как всегда, но что-то в их молчании уже было другим.

2.

Ровно в 15:50 того же дня Владимир Набоков шел по коридору Goldwin Smith Hall медленно, но твердо. На нем был черный костюм с легким отливом, синий галстук с серебристой булавкой и шляпа зеленоватого цвета в руке. Он не любил гармонии там, где она не нужна.

Ветер снаружи подогнал несколько опавших листьев, они крутились у входа в здание, как театральная пыль перед занавесом. Он остановился у нужной двери GSH 132, мельком посмотрел на свое отражение, поправил воротник и вошел.

Студенты уже собрались. Некоторые пришли минут на двадцать-тридцать раньше: они знали, что на лекции Набокова опаздывать — смертный грех. Зал был амфитеатром, три ряда ступеней, деревянные столешницы, стулья со скрипом. Те, кто сидел ближе к доске, держали записные книжки с аккуратными стикерами. Дальше — куртки на коленях, кофейные стаканчики, пара человек листали *The Cornell Review*, притворяясь заинтересованными.

Одежда у студентов была самая обычная: свитера, грубые ботинки, мешковатые пиджаки, вязанные шарфы. Один студент в клетчатой рубашке уже готовил диктофон. Девушка с двумя косичками писала заголовок в блокноте: «Lecture #7. Dostoevsky» — подчеркнуто, дважды.

Набоков не смотрел на аудиторию — как дирижер не смотрит на публику перед началом. Он положил папку с карточками, снял очки, протер стекло, надел обратно, обвел взглядом первые ряды.

— Сегодня, — начал он, — мы поговорим о писателе, которого вы неплохо знаете и которого я считаю глубоко переоцененным. Мы поговорим о Достоевском. И если вы пришли сюда, чтобы услышать восторженный гимн в его честь — вы ошиблись дверью и ошиблись профессором.

Пара студентов переглянулись. Но никто не прошептал ни слова.
 — Я не отрицаю его значение для русской литературы. Я признаю его силу — как мы признаём силу землетрясения или инфекционной болезни. Но литературная ценность его прозы, с моей точки зрения, ничтожна. Это не роман. Это стенограмма психиатрической клиники.

Набоков сделал паузу. В первом ряду кто-то перестал писать.
 — Его герои не разговаривают. Они бредят. Не действуют — а извиваются. В «Преступлении и наказании» у нас есть молодой человек, который убивает старуху, страдает, кается. В «Идиоте» — святой, лишенный мозга. А в «Братьях Карамазовых»... — он чуть приподнял подбородок, — в «Братьях Карамазовых» — настоящий карнавал истерии.

Он открыл папку. Достал карточки. Заговорил быстрее, но не громче.

— Вот, к примеру, Алеша Карамазов. Это не персонаж. Это иллюстрация к идее. К нему не применимы обычные человеческие категории. Его нельзя себе представить вне книжной страницы. Он не ест, не чешется, не ходит в уборную. Он не живет — он парит, как надпись на иконостасе.

В аудитории было тихо. Но не равнодушно — внимание было натянуто, как проволока. Один из студентов с блокнотом подпер щеку кулаком. Девушка с косичками продолжала писать, не отрываясь.

— Иоанн Златоуст в монастырской рясе — вот кто Алеша. А Иван Карамазов? Философ на грани нервного срыва, который цитирует дьявола и пытается утопить смысл в риторике. Это все красиво только для тех, кто никогда не читал Тургенева. Или Пушкина. Или Толстого вне школьной программы.

В первом ряду Джудит, как обычно, не отрываясь писала — почти машинально, но с напряженным лицом, будто фиксировала не слова, а удары. Чарльз, сидящий слева, сначала кивал, но после упоминания «стенограммы психиатрической клиники» остановился, сложил руки и замер с выражением недоумения. Девушка в зеленой кофте подняла брови на словах про Алешу как надпись на иконостасе и тихо фыркнула — не то от согласия, не то от раздражения.

Набоков повернулся к доске и мелом большими печатными буквами, написал:

ДОСТОЕВСКИЙ ≠ ЛИТЕРАТУРА.

ДОСТОЕВСКИЙ = РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОЗА НА ПРЕДЕЛЕ.

Обратился к залу:

— Если вы хотите читать Достоевского — читайте. Но помните: вы не изучаете литературу. Вы проходите через болезнь. Через мистику, которая маскируется под мысль. Через крик, который хочет быть прозой.

Он остановился. В аудитории было все еще тихо. Кто-то начал медленно записывать формулу. Кто-то уже перестал писать и просто смотрел на него.

— Я не отрицаю, что его книги влияли на умы. Влияние — не гарантия ценности. Грипп тоже заразен. И все-таки — попробуйте перечитать «Братьев Карамазовых» так, как вы бы читали Толстого. Или... Чехова.

Набоков убрал карточки. Закрыл папку.

— И тогда вы поймете, что литература — не в том, чтобы страдать, а в том, чтобы наблюдать. Видеть. Запоминать. Оставаться в мире, даже когда он рушится.

Он поклонился чуть-чуть, почти незаметно. И ушел так же, как пришел — не попрощавшись, не оборачиваясь.

3.

Набоков прошел через кампус, мимо каменных корпусов, обогнул здание университетского магазинчика и свернул на свою относительно людную улицу. Их дом казался тише других.

Свет в окне кабинета уже горел: Вера включала лампу к его приходу — он не любил возвращаться в темноту.

Он открыл дверь ключом, с привычным звоном связки. В коридоре пахло супом и шерстью. Пальто повесил аккуратно, шляпу положил на полку. На кухне мелькнула Вера — в сером платье, в переднике, с волосами, чуть выбившимися из пучка.

— Ты рано, — сказала она из-за двери.

— Нет. Просто лекция была короткой, — отозвался он, не заходя. — И ненужной.

Он прошел в кабинет. Стол, заставленный бумагами, допотопный Underwood, справа — словари, слева — старое издание Шекспира. У окна стоял высокий торшер с зеленым абажуром. В комнате было тепло. На стуле у камина лежал плед, под которым он любил читать по вечерам.

Он снял ботинки, надел мягкие туфли, прошел к столу. Листы с «Лолитой» — стройные, упорядоченные. Черновики, исправленные красным карандашом. Сцена, где Гумберт смотрит, как девочка играет в теннис. Там еще не хватало точного слова для ее прыжка.

Через пару минут вошла Вера. В руках — поднос: чайник с тонкой полоской пара, две чашки с блюдцами, вазочка с леденцами и несколько его любимых конфет Barton's в фольге. Она поставила поднос рядом с рукописями.

— Итак, то о чем я хотела поговорить.

Он молча кивнул: дескать, давай, сейчас как раз время для этого.

— Три недели назад, — продолжила она после короткой паузы, — пришло одно письмо. Тогда я не стала говорить — ты работал над предпоследней главой.

Он обернулся, не резко, но настороженно.

— Что за письмо?

Она достала из внутреннего кармана передника сложенный лист. Плотный конверт с красной печатью, кириллицей и невероятным количеством странных марок. Он на мгновение замер, не беря его сразу.

— Из Союза писателей, — сказала Вера, — из Москвы. Так выглядят советские письма.

— Из Совдепии? — удивился Набоков.

— Приглашение. Они хотят, чтобы ты приехал. С официальным визитом. На какую-то конференцию. Или юбилей. Неясно.

Он взял конверт. Повертел его в руках. На мгновение прищурился, будто от слепящего света. Потом разорвал по краю уже разорванный конверт и развернул письмо.

Машинописный текст, немного блеклый. Обращались к нему с необычной вежливостью: «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович...» — фраза, не свойственная советским чиновникам. Упомянули его отца, «либерального государственного деятеля», говорили о культурном обмене, о необходимости восстановить связи, «вне зависимости от политических контекстов». Предлагали оплату проезда, гостиницу, сопровождающего.

Он читал молча. Затем — аккуратно, как хирург складывает салфетку после операции — положил письмо на поднос, рядом с чашкой. Вздохнул, будто от горечи, не от усталости.

— Это розыгрыш, — сказал он, почти с досадой. — Или, хуже, тест. Проверка. Им нужен я — не как писатель, а как сим-

вол. Как возвращенный блудный сын. Они выставят меня на сцену и скажут: смотрите, он снова с нами. А потом — вонзят нож в спину. Или просто забудут, как старую афишу.

Вера молчала. Она знала это. Она предвидела такую реакцию. Но все равно хотела, чтобы он увидел.

— И что ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил он чуть раздраженно.

— Ничего. Просто... ты должен был знать.

Он взял чашку. Сделал глоток. Потом, уже тише:

— Все же розыгрыш. Вероятно, кто-то из коллег. В ближайшие несколько дней этот негодяй сам проявится и захочет вместе со мной посмеяться. Вот только не вижу повода для смеха.

Он взял письмо снова, аккуратно сложил и передал Вере.

— Можешь сжечь. Или спрятать. Все равно.

Она не сожгла. Как всегда, положила его в ящик стола, под квитанции, рядом с вырезкой из русской газеты и телеграммой от Сикорского.

А он уже снова склонился над страницей, карандаш в руке. По-прежнему казалось, что не хватает одного слова. Слова для ее шага, для того теннисного прыжка. Слово должно быть легким. И болезненным.

4.

Прошло несколько дней. Царила необычная для Корнеллы тишина: студенты писали курсовые работы, университет замирал накануне Дня благодарения.

Письмо из Москвы лежало в ящике, слегка потеряв резкость в набоковском сознании, но не исчезнув. Никто из его потенциальных авторов не проявился.

Он мучительно колебался: стоило ли кому-нибудь рассказать? Не хотелось посвящать в это славянский департамент: профессора там были люди разговорчивые и мстительные, а сплетни в академической среде разлетаются быстрее, чем рукописи. Вместо этого он направился к человеку, с которым у него всегда были острые, но уважительные споры — к Ричарду Блайсону, профессору английской литературы, специалисту по XIX веку, викторианцу и убежденному американскому либералу.

Кабинет Блайсона находился в Morrill Hall, в его старом крыле с толстыми стенами и запахом мокрого дерева. Через мутное стекло пробивался слабый дневной свет. Блайсон сидел в кресле у окна, в руках держал томик Харди.

— Владимир, — сказал он, не вставая, — как вовремя. Я только что вспоминал твою лекцию о Флобере. Присаживайся.

Набоков сел. Немного помолчал. Затем достал из кармана аккуратно сложенный лист.

— Мне пришло письмо. Из Союза писателей. Москва. Приглашение. Довольно туманное, но официальное. Якобы по линии «восстановления культурных связей».

Блайсон отложил книгу. В его лице ничего не изменилось, только глаза чуть прищурились.

— Ты ответил уже?

— Нет. И не собирался. Но оно... не выходит из головы. Я хотел понять — это что? Простая дипломатия? Или за этим может стоять что-то большее?

Блайсон взял письмо, не читая, просто подержал в руках. Затем положил на письменный стол.

— Даже если это просто жест, он не случайный. Возможно, сигнал. Возможно, прощупывание. Может, просто протокол: велено пригласить известного эмигранта, вот и приглашают. Но если ты меня спрашиваешь, нужно ли отвечать — я скажу: да. Хотя бы формально. Это акт вежливости, акт присутствия.

Набоков кивнул, но лицо его оставалось настороженным.

— Ты думаешь, это как-то связано со смертью Сталина?

Блайсон пожал плечами.

— Смена риторики — безусловно. Суть? Не уверен. Ты ведь знаешь: режимы редко трансформируются быстро. Но любой слом требует знаков. Такие письма — один из них. Или имитация одного из них.

Он сделал паузу. Добавил уже тише:

— Я бы еще написал в ФБР. Пусть прочтут. Это не о тебе лично — это о пространстве вокруг.

Набоков посмотрел в окно. За стеклом кто-то проходил с зонтом. Он вздохнул:

— Но что там изменилось на самом деле? Даже если диктатор мертв, диктат остался. Невозможно поверить, что они действительно хотят диалога. Не с такими, как я.

Блайсон слегка усмехнулся.

— Ну, может, и не хотят. Но ты не забывай — у них ощущение, что они выиграли век. Победили в войне, построили общество, в котором — по их представлению — человек наконец стал чем-то большим, чем просто индивидуум. Новый человек.

Набоков повернул голову. В его взгляде томила смесь иронии и опасения.

— Ты это серьезно? Верить в это?

Блайсон развел руками.

— Не то чтобы верю. Но я вижу, как это работает. Это же не просто идеология — это структура мира. В ней все рационализировано: искусство — для государства, правда — для идеи, человек — для служения. Подсудимые в тридцатых, к примеру, признавали вину без адвокатов. Добровольно. Публично. Это была новая логика.

— «Добровольно»? — Набоков чуть не вскочил. — Не думаю. Пытались наверняка.

— Возможно, — спокойно сказал Блайсон. — Но всех не перепробуешь. И потом, для системы это даже неважно. Главное, что она вырастила человека, который воспринимает вину как форму служения. Это страшно. Но в их глазах — это путь вверх. Над собой. Над нами. Ведь любое новое общество возвышается над христианством.

— Но это же извращение. Полное подчинение. Омертвление личности. Разве ты не видишь этого?

Блайсон вздохнул. Медленно.

— Конечно вижу. Но, Владимир, будь осторожен. Ты — человек другого века. Ты — эстет, писатель, мыслитель. Ты живешь по традициям Бетховена и Гёте. А у них — уже двадцатый век плюс. С его массой, скоростью, героизмом, победой. Если ты поедешь туда, я бы не боялся ареста. Я бы боялся, что ты вдруг почувствуешь себя лишним. Старым. Декадентом.

Наступила пауза.

Набоков медленно поднялся.

— Если это действительно новый человек, — сказал он глухо, — то я предпочту остаться старым. Пусть даже музейным.

Блайсон смотрел на него внимательно.

— А вот это, пожалуй, и есть единственное, за что стоит держаться, — сказал он. — Идея остаться самим собой — это не ошибка.

Набоков кивнул, поблагодарил и вышел. В коридоре было темно, пахло пылью и бумагой. Он остановился у окна, по-

смотрел на мокрую дорожку и подумал: а вдруг Блайсон был прав — не в том, что надо ехать, а в том, что любое новое общество возвышается над христианством?

5.

Вера оставила в прихожей ночник, горящий мягким янтарным светом. За окном маячил холодный ноябрьский дождь. Ветер гонял капли по стеклу, будто кто-то писал снаружи невидимым пальцем.

Набоков вошел в кабинет, не включая верхний свет, подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. Несколько минут просто стоял, слушая, как скрипит дом и постукивает дождь. Потом открыл ящик. Письмо все еще было на месте. Он провел пальцем по его краю, как по старому шраму.

Вера появилась в дверях почти бесшумно, как всегда.

— Ты поздно, — сказала она, входя.

— Был у Блайсона, — тихо ответил он. — Хотел выслушать его мнение.

Она села напротив него, поджав ноги под себя. Взяла чашку, налила чаю. Помолчала. Он редко говорил о коллегах. А если говорил — то не о таких встречах.

— И что он сказал?

— Что нужно ответить. Что это часть игры. Или дипломатии. — Он усмехнулся. — Он говорит, что в Советском Союзе уже двадцатый век плюс. А я — девятнадцатый. И если я поеду туда, то почувствую это так остро, что захочу сдаться.

Вера молчала. Смотрела в чашку. Потом подняла глаза:

— Сдаться кому?

— Я боюсь не страха, — сказал Набоков, — а чужого будущего. Боюсь оказаться в стране, где я — лишний. Где мои слова не нужны, потому что у них другие ритмы. Где вина — это долг, а признание — это доблесть. Понимаешь? Блайсон говорит: «Всех не перепытаешь». Но именно в этом — ужас. Что там больше не нужно пытаться. Они... внутри уже согласны.

Он говорил почти шепотом, но с напряженной скоростью, будто пытаясь вытолкнуть из себя нечто давно накопившееся.

Вера взяла его ладонь.

— Ты не обязан туда ехать.

— Но должен ли я ответить? Даже одним словом? Или я тем самым уже принимаю их язык?

Она посмотрела в сторону, задумчиво. Потом сказала:

— Ты писал мне когда-то, еще в Берлине: «Ответ — это не всегда согласие. Иногда это просто способ показать, что ты слышишь». Может, и сейчас — это тот самый случай?

Он вздохнул. Освободил руку, встал, прошел по комнате.

Заглянул в свою папку с черновиками. Перелистал страницу «Лолиты», которую собирался править этим вечером. Теперь она казалась далекой. Слишком солнечной. Слишком американской.

— Знаешь, — сказал он, — я ведь даже не уверен, кого боюсь: их — или самого себя, если вдруг я не испытаю отвращения. А наоборот — сочувствие. Или жалость. Или даже что-то вроде зависти.

— К чему?

Он повернулся к ней. Его лицо было усталым, но спокойным.

— К целостности. К тому, что у них — все едино: язык, вера, идея, враг. У нас — разлом. Мы живем в трещине между веками, между культурами. И иногда в этой трещине... слишком одиноко.

Вера подошла к нему. Осторожно, почти боясь нарушить равновесие.

— Но именно в этой трещине Корнелла и рождается то, что ты пишешь.

Он не ответил. Только кивнул. Потом снова посмотрел в окно. Там, в темноте, между каплями, будто на секунду мелькнул его собственный отраженный силуэт — и исчез.

6.

Время близилось к девяти вечера, и над Итакой сгущалась поздняя осенняя темнота, плотная, вязкая. С улицы доносился редкий скрип шин на мокром асфальте — ветер гнал по тротуару обрывки листьев, как неразобренные фразы. В доме был легкий беспорядок, наполненный шелестом бумаг и глухим урчанием обогревателя в углу кабинета.

Набоков сидел за столом, чуть пригнувшись, одной рукой вода по листу с правками, другой лениво покручивая карандаш. Перед ним — десятки страниц, каждую из которых он уже пере-

читывал не менее двадцати раз. Это был конец. Финал «Лолиты». Но что-то все еще не складывалось.

Он записал на отдельном листке варианты последних сцен:

Гумберт умирает в тюремной камере.

Гумберт пишет Лолите письмо, которое она не читает.

Суд. Пустой зал. Молчание.

Их последняя встреча. Сад. Муж Лолиты. Странная жалость.

Он перечеркивал, добавлял, возвращался к первому варианту.

Потом снова перечеркивал.

Слова ускользали. Ему хотелось — не эффекта, а сдержанности.

Последний аккорд, который будет не драмой, а отголоском.

Почти шепотом.

Но вместо этого получался либо сентиментальный финал, либо откровенная жестокость. Оба пути казались фальшивыми.

Он откинулся на спинку кресла, снял очки и прижал ладони к глазам. Лоб болел от напряжения, мысли — как сухие листья в водосточе: застряли, не текут.

Набоков почти заснул в этом положении, когда где-то внизу, за закрытой дверью, внезапно раздался звонок телефона.

Звук был резким, почти старомодным, как крик чайки над серым морем. Он не двигался. Обычно Вера брала трубку. Но шагов не было. Только звон.

Он встал, не спеша, прошел по темному коридору, включил приглушенный свет и снял трубку.

— Да? — голос его был тихим, почти скрипучим после долгого молчания.

— Профессор Набоков? — спросил голос на хорошем американском английском. Молодой, вежливый, уверенный. — Это Джонатан Грин. Ассистент заместителя госсекретаря. Я звоню из Государственного департамента.

Набоков на секунду нахмурился, прижал трубку к уху плотнее. В коридоре стало как-то пусто. Даже обогреватель вдруг перестал шуметь.

— Да. Я вас слушаю.

— Мы хотели бы узнать, могли бы вы приехать в Вашингтон. Желательно — первого или второго декабря. Один из старших сотрудников хотел бы встретиться с вами лично. Это не займет много времени. Мы, разумеется, организуем все необходимое: транспорт, размещение.

— А по какому поводу? — спросил он спокойно, но настороженно.

— Простите, профессор, но я не могу сообщить деталей по телефону. Это деликатный вопрос. Но я уверяю вас, встреча будет частной. У нас нет намерений вмешиваться в вашу работу. Мы, разумеется, оплатим проезд.

В этот момент к нему подошла Вера. Он на секунду прикрыл трубку ладонью.

— Госдепартамент, — шепнул он. — Приглашают в Вашингтон. Первого или второго.

Она смотрела на него внимательно, без удивления, только слегка наклонила голову, будто вслушиваясь в смысл, который еще не было озвучен.

Он вернулся к трубке.

— У меня в это время лекции. Но... я поговорю с женой. Мы должны будем ехать вдвоем — я не вожу.

— Конечно, профессор. Мы свяжемся снова через пару дней. Спасибо, что уделили время.

Набоков повесил трубку. Пару секунд стоял, всматриваясь в стену напротив, как будто там должна была проявиться скрытая надпись.

— Что они хотят? — спросила Вера спокойно.

Он покачал головой.

— Не сказали. Только что это «деликатный вопрос».

Пауза.

— Либо хотят предостеречь. Либо — использовать.

Она подошла ближе, поправила его ворот. Потом сказала тихо:

— Здесь не Совдепия. Мы ведь не обязаны ни на что соглашаться.

Он кивнул.

Потом медленно вернулся в кабинет. Сел. Вставил чистый лист в машинку. Пальцы зависли над клавишами.

Он снова посмотрел на фразу, которую не мог закончить:

«Я видел ее в последний раз...»

На этот раз он не продолжил. Оставил строку незавершенной.

Сквозь стекло окна ветер мотал мокрые листья, и казалось — это сама реальность стучится в стекло, требуя ответа.

Но пока — ответа не было.

ПОЭЗИЯ



Татьяна Вольтская

ИЗ ЦИКЛА «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ»

* * *

Гроздь переулков висит на горе — початки
 кукурузы в крупном зерне брусчатки,
 мечутся молодняка верховые стаи,
 мечены алыми шелковыми крестами,
 тонкие лица вспыхивают, как свечи.
 Век — это снайпер, стреляющий без осечки
 по человекам и духам, зверям и травам,
 по виноватым, но чаще всего — по правым.
 Тело толпы, шевелящее плавниками
 нежных знамен, текучими облаками,
 звездной пылью клубится в ущельях улиц,
 кровь проступает — цвета киндзмараули.
 Серые камни, охваченные ознобом,
 воздух, пропитанный пряным, горячим — словом,
 лавочку букинист открывал напрасно:
 тронешь краешку империи — брызнет красным.

* * *

Желтоглаза жарища тифлисская,
 бьет по темени, как молоток,
 всё беги от нее, всё выискивай
 неистраченной тени глоток.

Но как только с небес выливается
 этот приторный знойный шербет,
 на моей открывается улице
 белый сахар, Кавказский хребет.

А за ним пулеметчица Анка,
 привалившись к Чапаю, лежит,
 и Набоков на маленьких санках
 за большим махаоном летит,

а за ними земля-самобранка,
мелкий снег, ледяные круги.
Катька, Катька, зачем тебе ранка
возле родинки алой — беги!

* * *

Не губы, нет, ты что, не губы, нет,
не эти розоватые, с которых —
вот именно, срываются, сюжет
совсем не в том — вот именно, как порох,

срываются негромкие — ну да,
но в них всё время коротит, искрит
смятение, какая-то беда,
и если целовать — то лучше листья,

по одному, украдкой, на бегу
то смуглые, то светлые, как рислинг,
но губы — нет, не то что не могу,
и дотянусь — но не имеет смысла,

ведь целоваться — это как молиться,
как бормотать неслышную строку,
не губы, нет, не губы — только листья,
поднять и прижимать к щеке, к виску.

* * *

Изгнаны, причтены к злодеям,
каждый хвостат, рогат,
что мы еще учиним, затеем,
брат релокант?
Как там — предатели-поджигатели,
вечным путем
посланные к ебене матери,
мы поплывем на подводном катере,
и мы ее найдем
там, где ее закопали, спрятали —
в сердце своем,

с детства исколотом красными звездами,
 башнями острыми,
 нежными рострами.
 Выпьем? — Не пьем,
 ибо сидим на колесах, приглушены
 ими, как рощи — каплями, лужами,
 может, с ума не сойдем,
 правда, похоже, сходить-то не с чего,
 каши на ужин свари себе гречневой,
 а остановку объявят конечную —
 там, за мостом.

* * *

Осенние любовники по листьям шуршащим,
 по листьям, хрустящим под ногой, как карамель,
 осенние любовники — за счастьем, за счастьем
 один успел, другой устал, а третий оробел.

Остриг тугие локоны ветер-парикмахер
 с акации — да вот они валяются, ну что ж,
 а эти на платане тверды, как жженный сахар,
 и никакими ножницами их не возьмешь.

А в лавке помидоры уже подорожали,
 но мелкий виноград — почти что даровой,
 а в небе облака повисли — дирижабли,
 нечаянно вернувшиеся с первой мировой.

Лежит на ладони осенний воздух клейкий,
 течет густое солнце у нас над головой,
 осенние любовники прилипли к скамейке,
 но это, к сожалению, уже не мы с тобой.

* * *

Ходим-бродим, по старинным
 переулкам кружим,
 вы откуда, может, кинем
 кости в «Revolution»,

а не в бар — тогда к подруге,
где вчера сидели,
ходит косячок по кругу,
льется ркацители,
долго париться не будем,
так, столетье с гаком —
то ли Бергман, то ли Бунин,
всё одно Булгаков,
да и кто их просечет,
этих прошлых гениев,
ходит-ходит косячок —
клево? — боле-менее.
Спойте нам, сыграйте, но
не травите сказки,
нам сегодня все равно —
Вагнер или Хаски.
Ни Мирона, ни хрена,
ни Егора Легова,
что война, где война —
нам-то фиолетово.

* * *

От любви до любви — километры,
звездный сор, проходные дворы,
гололед, а от смерти до смерти
только шаг, только дверь отвори.

От любви до любви миллионы
световых незадернутых штор,
а от смерти до смерти — зеленый
коммунальный пустой коридор,

лютой лампочки пыльной дрожанье,
табурет, таракан за ведром
и в распахнутой рваной пижаме
сумасшедший сосед с топором.

А от жизни до жизни, до vita
 nova, до костяной, лубяной —
 как до поля в деревне забытой,
 как до кухни в избе ледовитой,
 как до встречи с чужою женой.

* * *

Жизнь запускается с колес,
 с пяти секунд, с шести полос,
 и если даже под откос,
 то это жизнь, которой не было
 еще вчера, когда привык,
 что всё, что видишь — черновик,
 а тут — написанные набело

веревки виноградных жил,
 оплетшие в длину и вширь
 прозрачный город, как бутыль,
 и вроде бы не пил, а весело,
 а в винном погребке сидит
 душою князь, лицом бандит —
 зайдешь, перекрестившись мысленно.

А твой картофельный росток
 души между кирпичных строк
 уже прозяб, уже просек —
 пока не вышибет из рук тебе
 твой мир, что ты хранил, хитер,
 жизнь не заводится, стартер
 не крутится — смотри инструкцию.

* * *

Предместье, предсмертье, предсердье, предзимье,
 хотя бы не думать о зимней резине,
 предгрозье, предзвучье, предгорье, предболье,
 предвестье, предкровье, а летом на море —
 и что там в наборе — и как там в Гоморре,
 а белые розы цветут

на дворике заднем, на синем, на черном,
на чем-то решетчатом и обреченном,
надтреснутом, тесном — зима нипочем им,
да разве же это зима.

Преддверье, предсердье, подполье, куда там
рванет в темноте отвязавшийся атом,
отчалим, когда разберемся по датам,
потрепемся лучше с торговцем поддатим,
а с чем эти банки, наверное, с ядом,
зеленые груши почем?

А где же пальто-то — за адом, за бредом
поедем за белыми розами следом,
за серой, за пеплом, за дымом, за летом
Господним — пора незнакомой.

* * *

И если выпадают годы странствий
студенту, а не старому козлу,
которому пора сидеть на печке
в какой-нибудь Окуловке, Опочке,
в Коньково, и уже поздненько метаться
за грантами и семенить к столу,
не для него накрытому — тогда бы
еще туда-сюда,

но если дамбу
снесло, и всем вповалку на полу
барахтаться, и молодым, и старым —
тогда чего, тогда уж чай заварим,
в конце концов, мы получили даром
и этот день, и эту синеву,
любое время кажется зашкваром,
а на небрежной набережной Мтквари,
в буграх, как эрмитажные атланты,
еще не облетевшие платаны
стоят, вцепившись в мертвую листву.

* * *

Отпустите мою голову,
до чего она болит,
и расплавленное олово
под мостом бежит, бежит,

за платановыми вихрями
ни живых, ни мертвых нет,
дай-ка сигаретку выкурю,
не курила двадцать лет.

А случайного прохожего
на мосту колотит дрожь,
на кого же, на кого же он
так случайно не похож,

а сидеть бы девке в тереме,
а не шляться по двору,
зажигалочка потеряна,
гаснет спичка на ветру.

* * *

Виноград войны на моей ладони,
виноград любви, виноград погони,
с плотной шкуркой черная «изабелла»,
а зачем я здесь, я уже забыла.
Обхожу собаку и глажу кошку,
покупаю чашку, тарелку, ложку,
и на чем забыться, и чем укрыться,
отвернувшись к стене виноватым рыльцем.
Кирпичи осыпаются. Бестолково
утекают дни в решето балкона,
кто на юге будет считать минуты!
На воротах львы, во дворах раздуты
паруса белья — вот сейчас отчалим,
на скамейке старуха с лицом печальным.
Ресторанчик полон — пойдешь направо,
а пойдешь налево — польется лава,

виноград толпы в площадном точиле
сапогами давят, как их учили,
вот оно как бродит, вино свободы —
по усам течет по последней моде,
ну а в рот ни капли не попадает,
всюду черные латники бьют джедаев.

Поздно, ветрено, мчится вода глухая
под мостами тяжкими, набухает
на карнизе лоза узловатой веной,
кипарис спилили, который стену
проломил корнями, как кулаками,
кустик, миска с водой, чтобы псы лакали,
деревянный забор, и везде за мною
по брусчатке волочится шлейф с Невою —
как ночная рубашка из-под халата
безымянной тени шестой палаты.

Борис Фабрикант

СМЕРТНЫЙ ПОЛК

* * *

Какую строчку ни начну,
Все кажется пустой
Сквозь эту черную войну
И черный дым густой.

Растает черный снегопад
В огне, не от весны,
Где не подснежники видны,
А мертвые лежат.

Запомнит этот урожай
Земля на много лет,
Ведь уезжай, не уезжай,
А жизни будто нет.

И надо заново учить
Детей, что белый снег,
И что не хочет их убить
Пришедший человек.

Под ясным солнцем и дождем
Железо ржа возьмет.
Кто будет в этот год рожден,
Тот больше не умрет

* * *

Живой войны бессмертный полк детей,
Смешной, плаксивый, нежный, золотой,
Без маршей, флагов, лозунгов, властей
Идет, невинный, за другой чертой.

Не вырастут, одежда не нужна.
Лишь песня колыбельная слышна,
В ней вой сирен и самолетный гул,
Под эту песню смертный полк уснул.

Им жизнь и смерть уже не различить,
Не знать судьбу, ушедшую на слом.
Ты б смог, Господь, глаза не отводить,
Встречая их за взорванным углом?

* * *

петь похоронные гимны и марши
я не могу
жизнь изменила дыхание наше
на берегу

воздух вдохнешь но не сможешь напиться
нужен другим
тем что уходят горящую птицей
падают в дым

на стороне освещаемой ярче
окна пусты
стонов не слышно и криков и плача
с той высоты

там у воронки сосед не отпетый
бомба легла
лишь отраженья клочок на отбитом
сколе стекла

Ася Аксенова

ДЕВА ВОЙНЫ

* * *

Наступает странная немота, словно вечная мерзлота.
 Как трясти малину с лесного куста — вот такая же маета.
 Как траву косить в непогожий день и уткнуться в пенёк.
 Наблюдать в заколоченное окно, как бежит олень.
 Ни малины вам, ни травы, ни дня, ни оленя, ни даже пня,
 Под землей маета, на земле суета, и на небе та же фигия.

Раздирай же горло свое немое, но не вой, Бог не любит воя.
 Не рифмуй дурное — «конвоя» с «боем» никогда не рифмуй. Другое
 Выползает, если предаться бегу по еще предстоящему снегу.
 Если снег состоится, а не приснится. И не пей водицы
 Ни живой, ни мертвой — тут рифма «к черту». Избегай ее. Медуницу
 Собирай в полях с чистотелом, если будет поле и медуница.

И о чем писать, и на что смотреть, если всюду таится смерть —
 В рыбьем плавательном пузыре, в игле и в чернильнице на столе.

* * *

Наступает удушье, и ноют грядущие раны.
 Не до жизни сейчас, и зачем вы осмелились жить?
 Как блестят под дождями травинки, как запахи пряны,
 Гулки звуки, и ласково солнце, светящее в ямы,
 В рвы и рытвины, как тут все это земное любить?
 Вы о чем говорите? Навстречу какому лучу, и цветенью какому
 Дикой сакуры, нежной акации, вы распахнули глаза?
 Тонкий луч через пыльные стекла, шмели и истома,
 И сидящая нежно на правом плече стрекоза...
 И закаты кровавы, и рассветы тревожней, чем были,
 И медлительней след от улитки, и злее оса.

Только как — на краю, на бегу, в комковатой изнеженной пыли
Видеть радость и солнце? Но вдруг застилает глаза
Пелена, словно мутным пакетом, и уши — как ватой,
И дыхание сходит на нет, оборвался мотив.
С пистолетом один на обрыв, а другой сигарету
Попросил закурить — и минуту еще будет жив...

* * *

Прорастает — не прорастает — поди пойми.
Снежная кутерьма в облаках — людьми
Не понятая — в этих землях обратная связь,
Как нитка, оборвалась...
Колосья, как волосы, спутаны, сжухли, корни их сплетены.
Грудь набухла у той, что с косой, и глаза темны
У девы, что косит в снегу гниющие колоски.
Зови ее Девой войны, пока кто-то стреляет с руки,
Бьет с ноги, отводит прядку со лба, автомат от плеча.
И подушка снежная ему горяча...
В мокром, талом, горячем, черном, кровавом снегу
Как ему спится? Слышит ли он пургу,
Что вокруг стеной? Нет, не слышит уже — только вой
Дальних волков. Ему снится — как в детстве — летний прибор...
Вот уж фигурки — только желтый зимний закат.
И никто никому не друг, не товарищ, не сват, не брат.
...Дева войны в дырявый бидон сцеживает кровавое молоко.
Ей ведь тоже, как и всем, сейчас нелегко...

* * *

*А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа...*

М. Цветаева

Не лучшие, не худшие победы —
Смотреть, какая долгая зима.
И шифровать стихи, рифмуя беды,
Чтоб не сойти с ума.

И все-таки сойти, и обернуться,
И увидеть, как рушатся дома.
И закричать, заплакать — и проснуться —
И окончательно сойти с ума...

Затем брести заснеженной долиной.
И наблюдать, как подступает тьма,
И замечает снег погост старинный,
И на могилах бесов кутерьма.

Затем уснуть, затем в бреду проснуться,
Порадоваться: жив, и есть ночлег.
Понять, что окончательно рехнуться
Не выйдет. И пойти почистить снег.

Евгений Сливкин

ПОСЛЕ БИТВЫ

МУЗЫКАНТ

Едут при деньгах и барахле —
ну а ты увозишь за кордон
в наглухо застегнутом чехле
белозубый свой аккордеон.

Встанешь на берлинской мостовой
около светящихся витрин;
душу тронешь музыкой живой
и споешь: «Маруся, раз, два, три...»

Пой же вьюге мысленной назло
то, что с достопамятных времен
пели: «Старый клен стучит в стекло»
или «Одинокую гармонь».

Подари чужим родную речь,
ведь негоже ей в недобрый час
тех, кому придется в землю лечь,
утешать, что это только раз.

НОКТЮРН

Плывут огни, как в масле шпроты,
а в небе свет давно погас;
унылый звук Парижской ноты
до крыш заполнил Монпарнас.

Вдоль кабаков и ресторанов
ведя ночной таксомотор,

везет меня Гайто Газданов
и не вступает в разговор.

Ему, похоже, ненавистен
настырный пассажир. Ну что ж,
в конце концов, последних истин
и без него известна ложь.

Но мне молчанье не по сердцу;
и возле бабочек ночных
я выхожу, захлопнув дверцу, —
для них не жалко чаевых!

БЕЛЛЕТРИСТИКА

Ты знал, что Клерфэ разобьется,
ты знал, что умрет Лилиан —
что глупо, как жизнь, оборвется
посредственный этот роман.

Но если он вновь подвернется,
над первой страницей усни.
И, может быть, все обойдется,
и счастливы будут они.

УРОБОРОС

Меня, как мерзлую змею,
пригрели на груди,
чтоб жизнь ползучую свою
оставил позади.

Мой сон покоен и глубок,
я жить во сне учусь.
Я — туго свернутый клубок
простых и добрых чувств.

Но их на медленном огне
с заката до зари
яд, накопившийся во мне,
сжигает изнутри.

ПОСЛЕ БИТВЫ

Подбегает, заполошный,
и хватает за петлицу:
«Подо мной убили лошадь,
надо мной подбили птицу!
Конский вывалился ливер
из распоротого брюха,
отлетел орлиный кивер
с головы моей, как рюха».

В возбуждении дурацком
юнкерок дрожит, как стебель,
теребит меня за лацкан.
Говорит тогда фельдфебель:
«Бог с ним, ваше благородье!
Чай не знает, желторотый,
что в седле сидишь ты мертвый,
в кулаке зажав поводья».

Я взмывал все выше, выше
между белыми клубами,
и не видел, и не слышал
шевелиющего губами.
Жизнь рубаки подытожить
встало солнце Австерлица —
подо мной летела лошадь,
надо мной скакала птица.

* * *

Там, где на веслах в Геллеспонт
 корабль идет, скрипя;
 где между юношей — не спорт
 метание копья;
 где колоннаду плющ оплел
 и вверх, как змей, ползет;
 где рой неугомонных пчел
 в пещере прячет мед;
 где в храмах жертвенный елей
 течет на алтари;
 где вереница журавлей
 курлычет вдоль зари;
 где горный высится отрог
 и в берег бьет волна —
 ярится, как единорог,
 Троянская война.
 И, взгляд куда со стен ни кинь,
 в порядках боевых
 мелькают голени богинь
 в толкучке ног людских.
 И мне бы вместе с той войной
 бежать — топтать луга!..
 Но возраст мой не призывной,
 и шкура дорога.

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

Мертвец живому не чета
 (хоть с ним лежал в одной палате),
 а все ему идут счета,
 как будто он по ним заплатит.

С утра приносит почтальон,
 толкнув беззвучную калитку,
 рекламу пиццы и купон
 на не поймешь какую скидку.

Шлет черт-те кто опросный бланк,
приходят письма отовсюду,
и обещает местный банк
взаимовыгодную ссуду.

Посыльный каждый год ко дню
его рожденья неустанно
ему под дверь сует меню
из углового ресторана.

...Так благоверная, ворча,
что вместе век напрасно прожит,
от надоевшего хрыча
уйдет — а позабыть не может.

Андрей Фамицкий

ОТМЕНЕННЫЕ ВЕЩИ

* * *

про красоту мне не рассказывай,
я знаю сам, что красота —
как тот стаканчик одноразовый,
с похмелья выпитый с утра.

а что в нем было? это главное,
но нет ответа на вопрос,
особенно когда халявное
и неизвестно кто принес.

* * *

описываю свой московский быт.
спит монитор, клавиатура спит.

спит Одиссей, мой монохромный кот.
нет новостей, не будет через год.

я весь такой домашний, никакой,
ни воля мне не светит, ни покой.

а светит лампа, лампочка в сто ватт,
и освещает рукописей склад.

* * *

есть в этом греческое что-то
Геката ты была права
важнее славы и почета
забвенье ветер и трава

не время подбивать итоги
но кредиторы тут как тут
а что я спрятал в складках тоги
то и гетеры не найдут

* * *

я научился выдувать стекло,
то рыбки получаются, то птички,
а кто-то говорил, что я ссыкло,
то трубку забирал, то прятал спички.

стекло не возражает, не претит,
когда я в бок ему металл вонзаю,
а вот смотри, сейчас она взлетит,
а может, поплывет, еще не знаю.

* * *

воспитатель Марина считала, что я гомосек.
так мы этих людей обозленно тогда называли.
если подозревали, своих же тащили на снег...
но не буду рассказывать, вам это нужно едва ли.

почему-то я вспомнил, виной ли вот этот сугроб,
или что-то другое, но прошлое, видимо, в силе.
потому и сбегаю из офиса, социофоб,
и стою на курилке, когда уже все покурили.

воспитатель Марина потом потеряла отца.
ночь за школьным автобусом Виктор, обычный водила,
провисел, а с утра мы сбежались смотреть мертвеца,
долго после Марина в заплаканном черном ходила.

эти сказки для взрослых кому я еще расскажу,
снег ложится на снег, и чернеет души домовина.
поднимусь на рабочее место и строчки сложу,
но надеюсь, что ты никогда не прочтешь их, Марина.

* * *

пришли за мной автозак
домой забери меня
я твой незаклятый враг
родная моя земля

гнилье от гнилья я твой
и просьба моя проста
укрой меня с головой
заботливо без креста

В КОМНАТЕ

1

бесплотные но громогласные
толпятся в комнате моей
их речи темные неясные
все явственнее все темней

2

потому что из нас откачали энергию
чтобы в танки ее закачать
передайте скорей преподобному Сергию
здесь уже проступила печать

3

лучше здесь чем в харьковском подвале
Господи спаси и сохрани
в этом тошнотворном одеяле
в комнате кошмарной искони

4

скоро нас будут брать
по очереди и скопом
спрятать в подпол тетрадь
не быть Эзопом

5

в ожидании перемен
устанавливай VPN

6

вены режут вдоль
а не поперек
переходит боль
болевого порог

.....
.....
.....
.....

7

никакого тебе Франца Кафки
и в реальности всё веселей
кто-то вносит трусливые правки
округляя до сотни нулей

и лежат отмененные вещи
с беспредметностью вместо голов
только запах плотнее и резче
в тесных ящиках наших столов

8

руины башни из слоновой кости
начало Третьей мировой войны

* * *

теория Большого взрыва
не объясняет ничего,
вселенная растет как слива,
в прогале меж ветвей черно.

когда удары станут глуше,
я свет зажгу и выйду в сад,
опали сливы, спеют груши,
и дыры черные висят.

* * *

смерть говорит на украинском,
тягуче-сладком языке,
но не под Питером и Минском,
а в интернете, в закутке.

она читает мне Жадана,
Павло Тычину (кое-как),
а то, как Брежнева, неожиданно
мне подает какой-то знак.

слова округлы и шершавы,
нежна украинская речь,
и вот бы не в пыли державы,
а в чистом поле с нею лечь.

чтобы летели и сияли
над головою облака,
и чтобы все живыми встали,
носителями языка.

Александр Немировский

ПОКА ДЫШУ

ЙОМ-КИПУР

Господи, только бы все успеть,
прежде чем позовешь!
Певчему — слушать медь.
Нищему — тратить грош.
Что ж
от того, что пока дышу,
ежели не тобой?
За грешника попрошу
ломаную строкой.
Дай не покой,
нет.
Что нужно мне — знаешь сам.
Свет
ниспошли, чтоб принять смог,
да силы придай словам.
Смог
рассеки лучом,
и я по нему пойду.
Любимой подставь плечо
и отведи беду.
Я поживу еще,
гордыню мою прости.
В горсти
твоей — чёт-нечёт —
доброму не отмсти.

59 СЕНТЯБРЬ

Потому что музыка песен
требует светлых строк,
стану пить только пресную
воду.
Буду только в глаза смотреть.
Если где-то есть истина,
то в угоду
ей продолжать гореть,
наплевав, что, конечно же, не пророк.
Листьями,
волной по траве, водой вдоль ствола —
лес вытекает с ветром,
оставляя всю неподъемную
эпоху ретро
на сто лет догнивания.
Так и люди многие
уходят раньше, чем их тела,
обреченные на дыхание.
Потому что, слова
связав,
получаешь материю,
ничего с собой не забрав,
я заворачиваюсь в терпение,
гусеницей, куколкой, ожидающей возрождения.
В музыке, «раз-два».
Потому что красота
побеждает боль,
я смотрю в вечность и вижу свет
в гармонии кружащегося листа,
чья роль —
перегной. Ища ответ,
за слоем слой,
мне ль его раскрошить?
Ведь жизнь, в которой побеждает зло,
не стоит жить.

Юлий Хоменко

ЗИМНИЙ ПУТЬ К ШУБЕРТУ

Петру Климову

порошит легчайшей манкой
иль мельчайшим сребрецом

желтый лист летит
изнанкой
то мелькая то лицом

на лице его тревога
приказали
улетай

но не та ему дорога
не дорога птичьих стай

*

по ночам люблю дожди
что в какое-то оконце
барабанят
подожди
мол назавтра будет солнце

дескать завтра облака
проплывут куда-то мимо
и растают
но пока
льем и льем неутомимо

*

ты конечно знал
я знаю
этой церкви перезвон

далеко он по Дунаю
раздавался

значил он
что пора уже подняться
и придумать танец (Tanz)

хоть тебе
под утро снятся
сны пленительные
Франц

*

впечатление такое
что никто здесь не живет

впечатление покоя
и такое что вот-вот

в этих окнах отразится
неба синь и благодать

или тех качнутся лица
здесь которых не видеть

*

приближаюсь
надвигаюсь
на тебя к тебе зима

на себя не полагаюсь
полагая
что сама
всех рассудишь
все устроишь
как погода ни юли

и от глаз усталых скроешь
рвы и рытвины земли

*

подмораживает круто

льдышкой став
блестит минута
переливами карат

то-то Фауст был бы рад
если б жил
но он ведь не жил

снег меж тем кругом оснежил
все что можно
но нельзя
сделать шаг не заскользя

*

сыплет снежная крупа
вот такая нынче манна
на дары зима скупа
и не больно-то желанна

то есть будут и дары
ленты кружево обновка
в Новый Год но до поры
сыплет снежная перловка

*

где скопление народа
на проспектах площадях
там не очень-то природа
разве только при дождях
проявляется и снеге

или если все сильнеей
ветер дует от Онеги
аж до самых Пиреней

*

не пойти ли не помчаться
ли куда-нибудь туда
где по слухам лишь начаться
снега таянье и льда
прошлогодного должно бы

пробуждая ото сна
все вокруг настала чтобы
позапрошлая весна

*

дом где Франц Шуберт
гостил у каких-то сестер

в небе свободно
антенны свои распростер

окна широкие
мокрому ветру раскрыл

ждет перелетных
а то и невидимых
крыл

*

двойственна сущность трамвая

рельсом наземным скользя
мчит
заодно задевая
провод небесный

нельзя
в жизни хитрей исхитриться
чем это делает он

крибле
и вдруг заискрится
бумс
и посыплется звон

*

что это
осень зима весна?

что-то из этого
но не лето

летом глухая вон та стена
в плюц до упора была б одета

ясное дело
ее упор
небо

когда б не была глухая
арфы эоловой перебор
слушать могла бы
плющом вздыхая

*

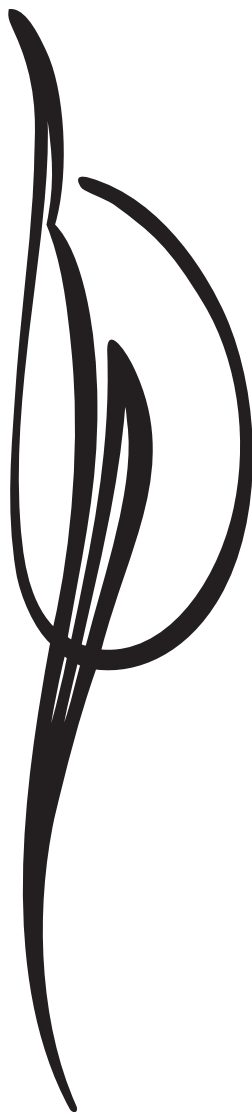
зимний путь
берет начало
в неприметном городке

зимний путь
хоть снега мало
и ни льдинки на реке

но зато
и в поле цветик
ни единый не цветет

зимний путь
приводит к Лете
к лету он не приведет

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Вадим Муратханов

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Андрей выходил из дома заранее, но всегда опаздывал. Дорога на работу вела через парковую аллею, вдоль которой стояли стенды с черно-белыми фото, — они-то и задерживали Андрея. Выставка была собрана из архивных материалов городской фотостудии 80-х. В доме не сохранилось фотоальбома: скорее всего, мать сдала его в макулатуру, пока еще могла выходить на улицу. Поэтому черно-белые картинки на стендах были единственным местом, где уцелели друзья, учителя. И даже сам Андрей был запечатлен на одном снимке.

Это была школьная линейка перед 7 ноября. Он стоял в обнимку с одноклассниками: четверо патлатых подростков насмешливо глядят в объектив. Черно-белая пленка погасила огненно-рыжую шевелюру Леша Плеханова, да и веснушки на лице были почти незаметны. Не то чтобы они дружили — скорее наоборот: Плеханов задирает его время от времени, и иногда дело доходило до драки. Однажды Леша схватил портфель Андрея, бегал с ним по улице и не хотел отдавать. В какой-то момент Андрея осенило и он сменил тактику: сам начал убежать от Плеханова. Растерянный Леша погнался за Андреем, потом, не догнав, положил портфель у бордюра и свесив голову побрел на остановку.

Были на этих снимках и дети, мелкими рисующие на плитах парковой ограды голубков на тему «миру мир», и осушение пруда, где двое парней с велосипедом стоят среди луж на илистом дне, и даже концерт йеменских студентов в местном ДК, который Андрей тоже прекрасно помнил.

Начальник журил его за опоздания, но устало и по инерции. К тому же Андрей был отличный работник: подолгу водил косилкой по газону, добиваясь идеальной гладкости, и с маниакальным упорством обходил парк, натывая на импровизированную острогу этикетки, фантики, бумажные стаканчики и пластиковые бутылки, словно стремился извлечь из пространства от человеческого присутствия.

У Андрея был выходной, который совпал с Днем физкультурника. Над парком разносились песни про стены древнего Кремля и Катюшу. Гирлянды из красных треугольных флажков хлопали на ветру, рождавшемся и замиравшем в липовых кронах, и главный физкультурник с теннисной ракеткой наперевес одобрительно улыбался горожанам с портрета.

Андрей по обыкновению надолго застыл перед черно-белым стендом, не замечая у себя за спиной пререкающихся с родителями детишек и проносящихся на скутерах подростков.

— Привет санитарам леса! — окликнул его знакомый голос. — Какими судьбами?

Андрей обернулся и увидел Альберта, своего напарника по настольному теннису.

— Да вот, — встряхнул он пакетом, — в турнире решил поучаствовать.

— Со своими лысыми накладками? Сколько раз тебе предлагал: давай заменим.

— К новым привыкать долго. Я уж как-нибудь так.

— Постой-постой, — спохватился Альберт, — это администрация проводит?

— Не знаю. Наверное.

— Не нужно тебе туда. Давай лучше со мной, на рыбалку. На карьер, а?

— Почему не нужно? Я уже записался.

— Не нужно — и все. Никого не победишь, только время свое убьешь и огребешь по полной.

— Давай я завтра тебе насчет рыбалки наберу?

— Как же, наберешь. — Альберт как-то вдруг потух и осунулся. — Слабоумие — оно ведь не лечится.

В тускло освещенном углу зала угадывалось укрытое полиэтиленом пианино. В другом углу громоздились неуверенной пирамидой поставленные друг на друга лакированные школьные стулья. В центре стоял микрофон с привязанными к штативу разноцветными воздушными шариками. На длинных, проседающих почти до пола скамейках вдоль стен сидели вразброс будущие участники, крутили в руках теннисные ракетки. Рядом спорили двое — один приземистый и полный, с нестираемой улыбкой на лице, другой худой, с приоткрытым ртом и удивленными глазами.

— Компьютер всех посчитает по рейтингу и распределит автоматом, — убеждал худой.

— Хератом распределит, — отзывался полный. — По группам рассуют, в порядке записи, как в прошлый раз.

— Не веришь — спроси у судьи.

— Да не пищи ты!

— Да не пищу я! И в прошлый раз не в порядке записи разводили по группам...

При виде севшего рядом парня с бадминтонной ракеткой собеседники отвлеклись.

— Оппа! А ты, мой юный друг, во что играть собрался? — повернулся к нему полный.

— По бадминтону же турнир, нет? Мне на работе сказали.

К микрофону подошла дама с нарисованным лицом и двойным подбородком.

— Здравствуйте! Позвольте мне зачитать обращение главы администрации.

Откашлявшись, она продолжила погрубевшим голосом:

— Дорогие сограждане! Ваша готовность откликнуться на призыв администрации и принять участие в нашем мероприятии заслуживает уважения и признательности. Трудно переоценить значимость вашего примера для подрастающего поколения и утверждения здоровых ценностей в нашем обществе. Никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Желая каждому из участников стойкости и удачи!

Выдержав паузу, дама продолжила:

— Сейчас вы по очереди пройдете на взвешивание, а потом в зону отбора. Мобильные телефоны прошу отключить и положить вот в эту корзину.

Постепенно темнело. Без телефона ждать было скучно. Андрей решил выйти покурить и обнаружил, что входная дверь заперта. Кабинка вахтера пустовала, так что спросить было не у кого.

За дверью кто-то отчаянно лаял и скребся.

— Жучок, Жучок, успокойся, — наклонился к полу Андрей. — Беги домой. Передай мамке, чтобы на ужин не ждала.

Жучок не убежал, и Андрей вернулся в зал, где под стрекот лампы дневного света спорили худой и полный.

— Нет тут никакого черного хода. Откуда ему взяться? — убеждал худой. — Вот холл, вот зал, вот раздевалки.

— Хералки! ДК в советское время строили, так? Он совмещен с подземной частью «Энергокабеля». Показываю для особо одаренных. Вот ДК, вот «Кабель», вот убежище. Здесь, между ними, пространство.

— Если есть выход, должен быть и вход, который видно снаружи.

— Да не пищи...

— А что, — прервал их Андрей. — отсюда, что ли, есть выход, кроме центрального?

— Слушай сюда, — понизил голос полный. — Видишь шторку вон там? За ней лестница. Спускаешься в цоколь — и дальше до упора по коридору. Дошел — и налево. Дуй, пока не хватились.

Город был узнаваем, только без новостройки «Красная шапочка» и без торгово-развлекательного центра. И еще на месте универсама стояла старая котельная, по кирпичной трубе которой Андрей с одноклассниками когда-то карабкался до самого верха, перебрасывая ноги через недостающие скобы.

Стайка ребят бежала мимо него, среди них он узнал Плеханова.

— Привет! — остановил он Лешу. — Как дела? Почему не на уроке?

— У нас урок отменили, всех повели на прививку. Пацаны боялись, а я первый к медсестре подошел и штаны снял. Меня Мария Павловна похвалила. Хочешь, дядя, загадаю загадку? Вот смотри: ты мог бы жить, если бы у тебя в голове было пять дырок?

— Не мог бы.

— А вот и неправильно. Вот, вот и вот.

Плеханов показал на свои уши, ноздри и рот.

— Смешная загадка?

— Не смешная.

— Ничего ты, дядя, не понимаешь.

— Ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

— А я не вырасту. В пятом классе я с матерью перееду в другой город. В шестом мы с пацанами залезем в недостроенную девятиэтажку и я упаду там в шахту лифта. А так я танкистом хотел, на войну. Мне папка обещал шлем привезти, настоящий, со звездочкой.

Андрея вызвали вскоре после того, как он вернулся. За дверью, отделявшей его от зоны отбора, раздавались гул и голоса. В дверную щель пробивались черно-белые всполохи. Было похоже, что показывают «Чапаева», но так, будто звуковую дорожку пустили задом наперед, и нельзя было разобрать ни слова.

Андрей шагнул внутрь и закрыл за собой тяжелую дверь.

— Ну что, вздрогнули? — поднял стопку худой.

— Вздрогнули, — согласился полный. — Ушел Сережка. Я с Пашкой, его отцом, на карьер рыбачить ездил.

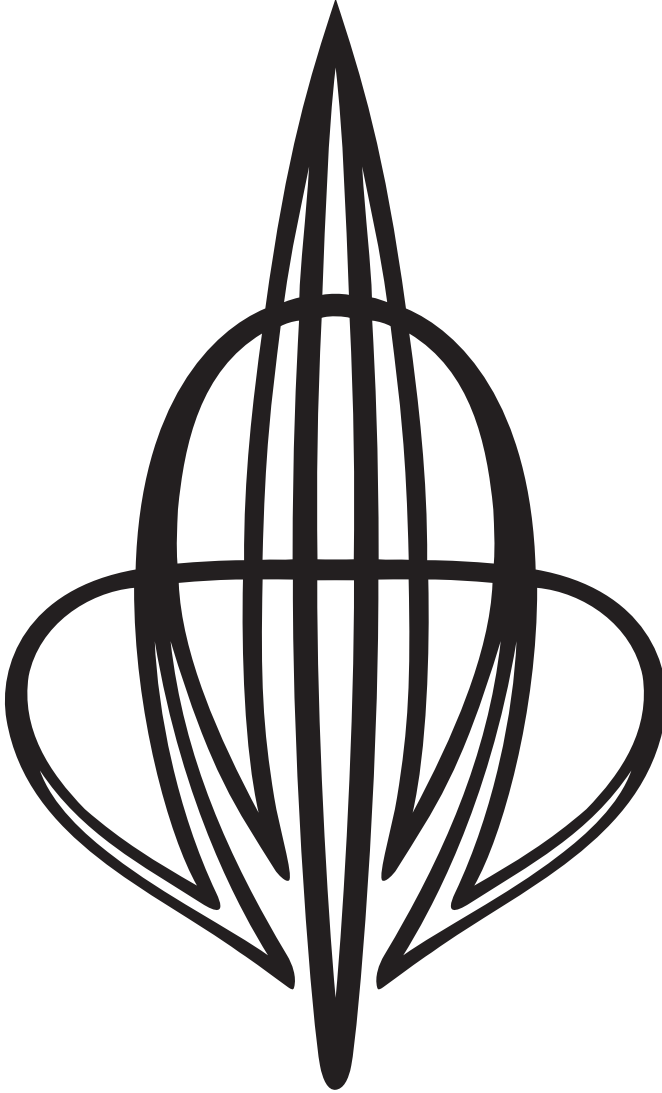
— Какой еще Сережка? Не слышал, что ли, когда вызывали? Это Антон. Он в парке работал, озеленителем.

— Охерителем он работал. Что я, Пашкиного сына, по-твоему, не знаю?

— Значит не знаешь, раз не узнал.

— Да не пищи...

VERBA POETICA



Лилия Газизова

МАЙ ЖИВЕТ В ЛЕВОМ КАРМАНЕ

Детские верлибры

ОТ АВТОРА

Верлибры — это всегда о неформальном мышлении и о свободном выборе. Детские верлибры — тоже о свободе.

Сегодня мир заново собирает себя, как пазл. Каждое поколение словно учится дышать заново. Происходящее в мире меняет наше отношение к себе и своему месту в мире. Рифма больше не справляется, она слишком симметрична для современного мира.

И дети тоже меняются. Они более открыты и свободны. Они получили практически неограниченный доступ к информации. Их гибкий ум быстро воспринимает новое и откликается на все нестандартное. При этом они остаются детьми и, открывая мир, проявляют все те эмоции, которые испытывали все мы в детстве: они не желают ходить по линейке, а хотят бегать, прыгать, спотыкаться и замирать у окна, забывая закончить предложение.

Я думаю, что отсутствие ритма и рифм — то, что дети характеризуют как «не складно», — вовсе не препятствие для уверенного прочтения этой поэтической формы. Отсутствие пунктуации тоже не пугает юного читателя верлибров.

Также я уверена что гениальный Чуковский сегодня не остался бы в стороне от экспериментов и писал бы удивительные верлибры для детей. А еще я думаю, что дети сами способны стать самыми талантливыми авторами верлибров!

В русскоязычном интернете нет ни одного упоминания о детских верлибрах. Рискну предположить, что это первая публикация детских верлибров на русском языке.

1

май это когда трава
щекочет мне пятки
и шепчет секреты
про дождь и червяков

облака плывут в небе
на котлеты похожие
мама говорит
это просто облака
но я знаю
это жареные сны

2

один мальчик крикнул
у сосны родились сосенята
и все поверили
и все захлопали
в мае все случается
он каждый день
новые веснушки надевает
и зовет дождик
поиграть в жмурки

3

вечером май становится
теплым одеялом
которое убегает
если пытаться укрыться всерьез
деревья дышат громко
и ждут ночи
чтобы стать тенями
и пугать прохожих
я стою босиком на балконе
и думаю
куда прячется день,
когда ночь побеждает

4

дождь барабанит
по крышам
по капюшонам

по носу прохожего
который забыл взять зонт
я стою под деревом
и чувствую,
как ко мне прилипают
мокрые но добрые
кусочки неба
я смеюсь
потому что дождь щекочет
не только лицо
но и мысли

5

май живет
в левом кармане брюк
иногда я достаю его
а там комочек солнца
пара жуков
и запах свежего асфальта
я показываю май друзьям
а они говорят
это просто мусор
но я знаю это начало лета
просто он еще не вырос

6

иногда май садится на лавку
и говорит тихонько
я больше не могу
все цветет и шумит
а я просто хочу поспать
он сбрасывает с себя лепестки
как старую одежду
и прячет за спиной солнце
чтобы все подумали
что уже вечер
птицы зовут его играть

а он машет рукой
летайте без меня
сегодня я не ваш

7

однажды май устал
и лег на облако
оно оказалось разговорчивым
как и соседние облака
я раньше был паром над кастрюлей
а я вздохом уставшей коровы
а я вообще был забытой мыслью.
май кивнул
все может стать облаком
если очень захочет
и пошел собирать
последние лучи солнца
чтобы потом раздать их
тем кто устал

8

я недавно заметил
май любит отдыхать на чердаке
ведь здесь живут
прошлые майские дни
в коробках
в письмах
в старых ботинках
он достает откуда-то
банку с вареньем
на которой выведено фломастером
вкус лета архивный
зачерпывает ложкой
и смеется

Николай Титков

ДОЖДИК ШЕЛ, СМЫВАЯ МЫСЛИ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

По внешнему виду и манере общения трудно представить себе человека более далекого от поэзии, чем Николай Титков. За его плечами служба в советской армии, работа машинистом, служение алтарником в храме Святой Троицы в Электроуглях. Кабинетная работа и книжные полки меньше всего вяжутся с его внешним обликом и стилем жизни, однако дух, как мы знаем, дышит где хочет.

Николай начал писать стихи и рассылать их друзьям и знакомым после сильного потрясения: серьезно заболела и спустя какое-то время ушла из жизни его жена. Стихи стали формой крика и одновременно языком для обращения к Богу. Через несколько лет боль ослабла, поток стихов обмелел, но написано хватало на тонкую книжку, изданную в Москве фактически на правах рукописи.

Попытка переноса нестерпимой душевной боли в слово — явление не новое в литературе. Чаще всего плоды такой ауто-терапии, выполнив свою роль, бесследно растворяются в необъятном море всемирной графомании. Трудно понять, почему в некоторых случаях происходит иначе, хотя ни образование автора, ни его культурный багаж этого не предполагают. Претворенная в слово эмоция прокладывает себе русло в обход литературной традиции. Автор переназывает уже названное своими словами, изобретает велосипед, движимый энергией нерастраченного чувства. Готовые, общеупотребительные образы и литературные клише играют здесь роль не того самого пресловутого сора, из которого растут стихи, а, скорее, строительного мусора, из которого самодеятельный поэт возводит свой причудливый нерукотворный памятник (подробнее о феномене «наивной» поэзии см. здесь: <https://magazines.gorky.media/arion/2017/3/naivnaya-poeziya-formula-uspeha.html>).

Тема утраты не стала единственной в творчестве Титкова: обращение к поэтическому слову, во многом неожиданно для самого автора, повлекло за собой рефлексию и переосмысление жизненного пути и собственного места в окружающем мире.

Случай Николая Титкова, на мой взгляд, еще одно свидетельство того, что поэзия — это не слова, а та реальность, которая стоит за ними и ждет своего часа, чтобы войти в нашу жизнь.

Вадим Муратханов

* * *

Как-нибудь, авось, небось.
С брюхом полным у экрана
Распласталось, улеглось
Православное из храма.
Отдохнуть немного надо —
И, как тесто, расплылось
По краям всего дивана.
К тесту — скалка, к жизни — ось!

* * *

Почему невозвратное время,
Как магнит, тянет нас оглянуться назад?
Я в умерший хочу Ленинград,
Повидаться со всеми.

* * *

Боль расставаний ждет за дверью
И без звонка заходит в дом
И к мастеру, и к подмастерью.
Как жить потом?

* * *

Я просил — Он не услышал.
Я стучал — безмолвие.
Может, Он куда-то вышел,
Что не слышно слов Его?

Помолился: тук, тук, тук,
Помоги, Всевышний!
Тишь, и никого вокруг.
Видно, я здесь лишний.

* * *

Черный квадрат на белом прописан.
В чем его смысл? В чем его смысл?
Только висит на стене полотно —
Дверь про запас или выход в окно?
Взялся за ручку, открыл шпингалет —
Крупными буквами: «Выхода нет».

* * *

Я жил и радовался солнцу.
Вдруг тьма сгустилась дочерна.
Я десять раз протер оконце.
Как мне вернуться во вчера?

* * *

Нет в стакане воды — вся испита до дна.
Нету в доме жены — она в землю ушла.
Нету в сердце любви — там полынь лишь одна
Проросла.

* * *

Ночь-царица, тишина.
В небе с облаками
Светится желтком луна,
И собаки лают.

Одиночество накрыло,
Тихо обняло.
Время, кажется, застыло,
На душе тепло.

С неба звездочка скатилась.
Я открыл карман,
А она не поместилась.
Над рекой туман.

* * *

Почему дует ветер?
Потому, что деревья качаются.
Почему поет петел?
Так ведь день начинается.

Боль пройдет, и обиды растают,
И высохнут слезы.
Все утраты — они зарастают,
Рано ли, поздно.

* * *

Уши заложило,
Сопли до земли.
Так меня скрутило,
Батюшки мои!

Руку, встать с дивана,
Боже, протяни!
Дальше сам, хромая,
Побреду в тени.

* * *

Дырочка в носке, на пятке.
Штопать? Выбросить его?
Так вся жизнь, в цветной заплатке.
Дни скопил, а для чего?

* * *

Желтые ковры стеля,
Заждалась меня земля.
Две лопаты холмик строят.
Вянут мысли обо мне.
За помин и выпить стоит.
Холодно лежать в земле.

* * *

Подошва оторвалась, зубы
Вдруг показал мне мой башмак.
От холода синеют губы,
И за углом тaitся мрак,
Крадется тенью, не услышать,
Бегут мурашки по спине.
«Пора вставать, пора покушать!» —
Вчера кричала мама мне.

* * *

С рюкзаком хотел в поход,
Где все незнакомо.
Накупил всего-всего —
И остался дома.

* * *

Осень красками осины
Город расписала.
Где вы, кисточки мои?
Целовал вас мало!

* * *

Дождик шел, смывая мысли.
Я насквозь, и без зонта.
Башмаки мои прокисли.
Маета...

* * *

Сколь еще тянуть мне ляжку
На этой поверхности?
Чтоб потом зарыли в ямку,
Глубоко, для верности.

* * *

Облако над полем реет.
Кепка лысину мне греет.
Осень листики срывает,
Ветер — гонит по земле.
Смерть друзей моих сзывает,
Скоро вспомнит обо мне.
Коромысло на плечах,
Два ведра качались.
От истока до конца
Быстро дни промчались.

* * *

Серость утра, серость дня
С дождиком косым
Уложили спать меня.
Встану молодым.

Евгений Абдуллаев

ОТ «ЗАДОНЩИНЫ» ДО ВАСЯКИНОЙ

О новой «Истории русской поэзии»

*История поэзию не учит,
Поэзия историю — тем паче...
Наталья Горбаневская*

Вышла новая «История русской поэзии»¹.

Это — событие: подобные обобщающие исследования появляются редко. Первая «История русской поэзии», написанная плодовитым литературным критиком Николаем Абрамовичем (под псевдонимом «Н. Кадмин»), вышла в 1914–1915 годах, двумя томами². И осталась почти незамеченной: возможно, из-за начавшейся войны и последующих революций; возможно, была написано несколько легковесно, по журналистски.

Вторая, более основательная, вышла более чем через полвека, под эгидой Института русской литературы. Два тома «Истории русской поэзии» (1968–1969)³, охватывали период с древности до 1917 года. Следующий двухтомник, «История русской советской поэзии. 1917–1941»⁴ и «История русской советской поэзии. 1941–1980»⁵, вышел в 1983–1984-м.

Тома эти тоже устарели — что справедливо отмечено в предисловии к новой «Истории...». И в силу идеологизированно-

¹ Полка: История русской поэзии: [сборник статей]. М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

² Кадмин Н. История русской поэзии. В 2 т. М.: Моск. изд-во, 1914–1915.

³ История русской поэзии. В 2 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Отв. ред. Б. П. Городецкий. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968–1969.

⁴ История русской советской поэзии. 1917–1941. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1983.

⁵ История русской советской поэзии. 1941–1980. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1984.

сти, и в силу неполноты картины: не учитывали «авторов, не вписывавшихся в официальный советский канон»¹.

И вот, снова через полвека, — новая «История русской поэзии».

Возникла она, как и двухтомник Кадмина, как частная инициатива, вне академических структур, в виде лекций на образовательном сайте «Полка». Авторами стали эксперты и авторы сайта Александр Архангельский, Алина Бодрова, Александр Долинин, Дина Магомедова, Лев Оборин и Валерий Шубинский.

Проект был завершен в конце сентября 2024 года; лекции оперативно подготовлены к печати (став главами), дополнены списком литературы и указателем имен. И уже на декабрьском «Нон-фикшне» на стенде «Альпина нон-фикш» можно было увидеть красный том «Полка: История русской поэзии». Солидный по объему и отлично изданный.

Наследует новая «История...» отчасти и советской «Истории...» Хотя в предисловии сказано, что «предлагаемый читателям том... не претендует на строгую академичность», стремление к академизму ощутимо. Половина авторов — Бодрова, Долинин, Магомедова — литературоведы, университетские преподаватели. Остальные, Архангельский, Оборин и Шубинский, более известны как литературные критики и организаторы литературного процесса²; но и они стараются выдерживать нейтральный тон. За исключением, может, местами по-журналистски резковатого Архангельского.

Нужна ли была сегодня новая «История русской поэзии»?

Последние лет десять-пятнадцать происходит пересмотр доминировавшего литературного канона. Условно говоря, либерального. Одновременно с реабилитацией советских практик (а также персоналий, риторики и так далее) реабилитиру-

¹ Впрочем, в последнем томе по отдельной главе посвящено Ахматовой, Пастернаку и Заболоцкому; много написано об Арсении Тарковском. В обзорах поэзии 60–70-х упомянуты Соснора, Чухонцев, Кушнер и даже Высоцкий. И хотя основное место в книге занимали другие персоналии, заметно стремление авторов отойти от идеологических клише. Насколько это, конечно, тогда позволяли «правила игры».

² Впрочем, Оборин недавно получил степень магистра в Калифорнийском университете (Беркли) и будет, вероятно, продолжать интегрироваться в американскую университетскую славистику.

ется и советский литературный канон. Авторы, занимавшие в прежнем постсоветском каноне маргинальное место, снова поднимаются на щит. Любовно описываются в ЖЗЛ-ных томах, увековечиваются в названиях литературных премий, возвращаются в школьную программу.

В этом смысле «полочная» «История...» — манифестарный жест. Особенно в отношении интерпретации истории позднесоветской и постсоветской поэзии, которой отведена почти половина (!) этого увесистого тома.

Об этой части преимущественно и пойдет дальше разговор.

Это не значит, что остальные разделы не играют столь же важной роли или не заслуживают такого же внимания. Играют и заслуживают. Многие из них читал даже с бóльшим внутренним согласием. Но этот отклик я пишу не для историко-литературного издания, а для журнала, посвященного *современной* поэзии.

Тем более, что именно в этой части книги особенно заметна попытка сохранить и утвердить прежний «либеральный» поэтический канон. Легитимировать его через подключение к «большой» истории русской поэзии. В основном тот извод этого канона, который сформировался в 90-е в кругу поэтов и критиков, печатавшихся в альманахе «Вавилон» и «Новом литературном обозрении». И в других, идейно и эстетически близких к ним изданиях. Считающих себя продолжателями и наследниками русского модернизма.

При этом академическая тональность и масштаб самого проекта не могли не повлиять если не на сам этот канон, то на его презентацию. Настроить авторов (в данном случае Льва Оборина, автора двух последних глав) на более широкий обзор, большую толерантность в отношении авторов, упомянутому кругу не близких. Прежде всего, к условным «неоклассикам» и не менее условным пост- и неоакмеистам. Хотя бы просто побудить к их упоминанию. Пусть даже не на вторых и не на третьих ролях. И даже слегка похвалить. Отметить, что и у «неоклассиков» не редки «настоящие лирические высоты» (с. 779). И даже что «многие стихи... убеждают, что магистральная постакмеистическая традиция по-прежнему жива» (с. 791).

Какие-то имена, конечно, все равно остались неупомянутыми. Но — кто пишет историю, тот и решает, кого называть, и как, а кого нет. Обидно, конечно, немного — особенно за тех «стар-

ших» поэтов, которым в нынешней «Истории...» не нашлось места¹. Но внутри выбранной Обориным оптики все выглядит вполне логичным и ожидаемым. Да и в «Предисловии» оговорено, что книга «не претендует на исчерпывающую полноту».

То, что я попытаюсь сказать ниже, — это не критические замечания (хотя совсем без критики не получится). В последнее время вообще стараюсь удерживаться от полемики; и так хватает боевых кличей и перекрестных огней. Да и любая критическая реплика сегодня рискует быть мгновенно переведенной в политическую плоскость. Чего бы совершенно не хотелось.

Попытаюсь сформулировать возникшие при чтении вопросы и размышления как *пожелания*. (Тем более что пишу это в канун Нового года, когда вообще принято что-то желать.) Не столько авторам нынешнего тома (вряд ли это подвигнет их на доработку), сколько авторам «Истории русской поэзии», которая *может быть* написана. Когда? Не знаю. Может, в ближайшее время; может, снова должно пройти лет пятьдесят.

Итак, что бы хотелось пожелать этой будущей воображаемой «Истории русской поэзии»?

Пожелание первое: более продуманной структуры.

В предыдущей «Истории...» она, кстати, была вполне логична. В последнем томе (1941–1980) вначале шли четыре обзорных очерка, посвященных, соответственно, поэзии военных лет, послевоенного десятилетия, поэзии 50–60-х и 70–80-х. А далее — главы об отдельных поэтах², наиболее значимых, с точки зрения авторов.

По близкому принципу построена и «Кембриджская история английской поэзии» (2010)³ — главы, посвященные отдельным авторам, чередуются с обзорными.

Нельзя сказать, что структура нынешней «Истории...» не продумана; но отказ от посвящения глав отдельным авторам

¹ За покойных Евгения Карасёва, Анатолия Кобенкова и Михаила Лаптева; за здравствующих Юрия Ряшенцева, Геннадия Калашникова, Владимира Друка, Михаила Кукина... Список можно продолжить.

² Отдельные главы посвящены Исаковскому, Твардовскому, Тихонову, Пастернаку, Ахматовой, Прокофьеву, Заболоцкому, Мартынову и Смелякову.

³ The Cambridge History of English Poetry. Ed. Michael O'Neill. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

кажется не слишком оправданным. В результате, например, Пушкин оказался «расчленен» на три разные главы: о романтизме, о «Евгении Онегине» и снова о романтизме, но уже после 1823 года.

Но о поэзии Пушкина, мысленно склеив эти главы, все же можно получить представление (да и фигура, как говорится, известная). Сложнее с современными поэтами.

Скажем, о Евгении Рейне и Анатолии Наймане говорится только в главе о 60-х годах — словно после 60-х этих двух поэтов и не было, не продолжали писать, а с конца 80-х — и активно издаваться и участвовать в поэтической жизни. Исключительно в контексте 60-х упомянут Игорь Шкляревский, творческая продуктивность которого в 70–80-е не иссякла («период молчания» наступил у него позже, в 90-е...).

О Максиме Амелине говорится только как о поэте 1990-х — самого начала 2000-х. После упоминания его сборника «Конь Горгоны» (2003) следует финальный пассаж: «Впоследствии Амелин возглавил издательство „ОГИ“ и выступил публикатором недооцененных авторов XVIII века, таких, как Александр Сумароков, Семён Бобров и Василий Петров» (с. 799). Не знал бы Амелина и не следил бы за его поэтическими публикациями — решил бы: всё, бросил человек лет двадцать назад поэзию, занялся издательским делом (которым, если на то пошло, Амелин занимался и в 90-е, задолго до «ОГИ»).

При чтении последних глав вообще возникает чувство, что изрядная часть приводимых имен и цитируемых стихов сами по себе и не важны. А присутствуют исключительно ради иллюстрации некой предзаданной концепции того, какой должна быть современная русская поэзия. Какая поэтика (или несколько близких поэтик) в ней актуальна и перспективна, а какая — просто «по-прежнему жива».

Пишу это опять же не в укор. И эта концепция вполне имеет право на существование. Желательно только, чтобы она была как-то озвучена. Как это обычно и делается — в предисловии. Но это я уже перехожу к следующему пожеланию.

Пожелание второе: более развернутого предисловия.

Именно в предисловии авторы обычно затрагивают общетеоретические моменты, упоминают предшественников, оговаривают структуру книги и принцип отбора и подачи материала.

Это, разумеется, требует места. Например, в «Кембриджской истории американской поэзии» (2015)¹ предисловие занимает четырнадцать страниц. В «Истории русской советской поэзии» (1983) — восемь.

В нынешней «Истории русской поэзии» предисловие по объему умещается на одну страничку. Достаточно ли это для такого масштабного труда? Сомневаюсь.

Вот, в первой главе Валерий Шубинский предлагает начинать историю русской поэзии не с эпохи Киевской Руси, а с последующей, золотоордынской.

«Очевидно, что то российское наследие, на которое более никто не претендует, начинается с эпохи монгольского ига. В этом смысле «Слово о полку Игореве»... — общее достояние восточнославянских народов» (с. 8–10).

Иными словами, «Слово...» к русской поэзии не относится. А начинать ее историю стоит с «Задонщины».

Утверждение, согласитесь, более чем дискуссионное.

Спорить опять же не буду — лишь пожалею, что далеко не второстепенный вопрос (о начале русской поэзии) ставится вот так, как бы между делом. А не в предисловии или вводной главе, где ему было бы самое место.

И еще. Рядом с вопросом, с чего стоит *начинать* историю русской поэзии, стоит не менее важный и острый, который тоже стоило бы оговорить в предисловии: где ее рассмотрение стоит *заканчивать*?

И здесь перехожу к третьему пожеланию — наиболее дискуссионному.

Пожелание третье: большей временной дистанции.

В книге по умолчанию предполагается, что заканчиваться она должна текущим моментом. Аналогичное допущение можно встретить, кстати, и в некоторых других «историях поэзий».

Но есть и иное мнение. Скажем, Вадим Баевский свою «Историю русской поэзии. 1730–1980», вышедшую в 1994 году (и неоднократно переиздававшуюся), завершает 1980-м. Почему?

¹ The Cambridge History of American Poetry. Ed. Alfred Bendixen and Stephen Burt. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

«...Историку для осмысления событий нужна временная дистанция. 10–15 лет — минимальный срок»¹.

Да. Десять-пятнадцать, а лучше — двадцать лет.

Двадцать лет (плюс-минус) — достаточный период для того, чтобы убедиться в жизнеспособности того или иного литературного явления. Двадцать лет — обычно тот минимальный срок, через который известные произведения «допускаются» в школьные учебники. Двадцать лет — цикл смены поколений, если следовать теории поколений Штрауса — Хау.

Наконец, плюс-минус двадцать лет — это срок перетекания современности в историю. *Vingt ans après* (по Дюма) все видится иначе, чем происходящее сегодня или пару лет назад.

Современность — поле, по преимуществу, литературной критики. Именно критика занимается оценкой того, что создается и выпускается в *современной* литературе. Положительно оценивает одни тексты (авторов), отрицательно — другие, игнорирует — третьи. Непосредственно — через критические статьи или другие медийные высказывания. Или опосредованно — через работу в различных литературных институтах: издательских, учебных, премиальных... И формирует тем самым «предварительный» литературный канон.

Говорю вроде бы очевидное, простите. Но иногда приходится напоминать.

За пределы современности литературная критика, как правило, не выходит. Успеть бы прочесть, понять и оценить то, что появляется сегодня. А появляется много: одних поэтических книг, из тех, которые заслуживают внимания и отзыва, ежегодно, по моим подсчетам, выходит более сотни. А еще публикации в периодике, в соцсетях; публикации других критиков поэзии, которые тоже надо держать в поле зрения.

Сами критики могут, конечно, иногда писать о чем-то более отдаленном. Скажем, Валерий Шубинский — о Ходасевиче, Глеб Шульпяков — о Батюшкове, Дмитрий Быков — о Пастернаке, Дмитрий Кузьмин — о Кузмине... Но пишут они это уже не как критики, а как историки литературы, или эссеисты, или то и другое вместе. Их герои уже вошли в русский поэтический ка-

¹ Баевский В.С. История русской поэзии. 1730–1980. Компендиум. Изд. 2-е. Смоленск: Русич, 1994.

нон; можно лишь вносить отдельные корректировки. Порой — существенные; но, как правило, не ведущие к исключению того или иного известного автора из литературного канона. Или, наоборот, к включению в него автора, никому доселе неизвестного.

Бывает и обратное, когда историки литературы пишут о современной поэзии. Есть кафедры современной литературы; люди там тоже не должны сидеть без дела. Но принцип временной дистанции, в большинстве случаев, действует и там. Достаточно приглядеться, по каким темам там, в основном, публикуются статьи и монографии и защищаются диссертации. Даже когда они выходят при жизни тех авторов, которым посвящены: это, как правило, авторы, успевшие заявить о себе как минимум уже 15–20 лет назад, а то и более. Как, например, монография Артема Скворцова о Сергее Гандлевском или комментарии Романа Лейбова, Олега Лекманова и Елены Ступаковой к поэме Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы» (1987).

В последней книге, кстати, момент временной дистанции особо отмечен. «...Разворачивая столь скрупулезные пояснения к тексту *всего лишь тридцатилетней давности*, авторы комментария тем самым заявляют о правах автора поэмы числиться в первом ряду „великой традиции“, о его законном месте в литературном каноне»¹ (курсив мой — Е. А.).

В «Истории русской поэзии» таких рефлексий не встретишь. Жаль. И если глава, посвященная «неофициальной» московской поэзии 70–80-х, написанная Львом Обориным, читается с интересом и внутренним согласием, то последующие две главы — с возрастающим недоумением. И чем ближе ко дню сегодняшнему, тем оно больше.

И не потому, повторюсь, что мне не близок взгляд Оборина на современную русскую поэзию. Да, чаще не близок — но готов его принять; тем более что многие упоминаемые и хвалимые им поэты мне тоже симпатичны. Да и самого Оборина считаю одним из наиболее талантливых и продуктивных критиков. И если бы речь шла о его критических статьях (изданных им не-

¹ Лейбов Р., Лекманов О., Ступакова Е. «Господь! Прости Советскому Союзу!»: Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения / С прилож. ст. М. Свердлова. М.: ОГИ, 2020. С. 436.

давно под одной обложкой в «Книге отзывов и предисловий»), то и смысла огород городить не было бы.

Но «ино дело пьянство, а иное чванство». Одно — литературная критика как поле неустоявшихся, дискуссионных оценок и репутаций в текущем литературном процессе, создаваемых его непосредственными участниками. А другое — история литературы, с ее ретроспективностью, обращенностью в более-менее отделенное прошлое, что дает возможность менее ангажированного и более объективного анализа.

Если бы в нынешней «Истории...» изложение было завершено с учетом этой, условно двадцатилетней дистанции, многих вопросов бы просто не возникло. Да, какие-то авторы начала 2000-х и их место в поэтическом каноне могут оставаться предметом расхождений и несогласий. Одни — по эстетическим или стилистическим соображениям. Другие, особенно в последнее время, — по политическим. И все же поэтический ландшафт начала нулевых, его «вершины» и «низины», просматривается сегодня гораздо четче и определеннее, чем 2010-х, не говоря уже о 2020-х. Здесь несовпадение оценок (а еще чаще — взаимное игнорирование) в разы выше; и работа критики по их производству и уточнению далеко не завершена.

Скажем, заканчивается «История...» тем, что Оборин классифицирует как «политику идентичности» в поэзии. Оксаной Васякиной (стихи плюс фото в полстраницы), Еганой Джаббаровою (стихи и тоже фото, чуть поменьше)... Почему бы и нет? К стихам Джаббаровою отношусь с симпатией; к стихам Васякиной — тоже, хотя, на мой вкус, они несколько тематически и интонационно однообразны.

Но «История русской поэзии»: от «Задонщины» — до Васякиной...

И дело даже не в конкретных поэтах. Само желание упомянуть всех и вся превращает текст в какое-то мельтешение имен и кратко-торопливых наукообразных характеристик. Нередко, опять же, вызывающих недоумение.

Вот, например, все, что автор счел нужным сказать об Ирине Ермаковой: «С традиционной элегией — и традиционным лирическим субъектом — экспериментировала Ирина Ермакова (р. 1951), начинавшая с достаточно умеренной неоакмеистической лирики, а затем начавшая писать „масочные“ тексты — к примеру, от лица старояпонской поэтессы Ёко Ири-

нати» (с. 785). В общем, молодец, Ирина Александровна: начала ни шатко ни валко, а потом — глядь, не побоялась, стала с лирическим субъектом экспериментировать, «масочные» стихи писать...¹

Или как понимать такую фразу о поэзии Веры Павловой: «Уже в 2010–20-е афористическое мастерство привело Павлову к острой гражданской лирике...» (с. 760)? Не помню заметных «острогражданских» стихов у Павловой в 2010-е (может, пропустил), но в последние годы — да, присутствует. Но вот чтобы «афористическое мастерство привело к острой гражданской лирике»... Я-то думал, к гражданской лирике приводят другие вещи.

Хорошо, не буду больше цепляться к формулировкам. Если бы, к примеру, мне пришлось утрамбовывать все важные, с моей точки зрения, имена современной поэзии в одну-две главы, справился бы с этим, боюсь, еще хуже. С подобной задачей вообще невозможно хорошо справиться. Современность редко прозорлива. Через некоторое время подобные списки устаревают, как вчерашние новости. И чем дальше, тем больше.

Вот, например, последние главы «Истории русской поэзии» Кадмина, где он пишет о современной ему поэзии... Мандельштам не назван, Хлебников и Маяковский отсутствуют (последних двух Кадмин недолюбливал). Зато присутствуют «тонкий художник, свежий лирик природы Н. Мешков», Лев Зиллов или Юрий Верховский, обладающий «живым и порою сочным поэтическим дарованием»... Ходасевич упомянут мельком; Ахматова и Цветаева — в одном ряду с Верой Рудич, Мариэттой Шагинян и Любовью Столицей².

Так что лучше в будущей «Истории русской поэзии» завершить изложение, не доводя его до поэтов-современников. И вообще, возможно, построить на иных принципах. Это уже последнее пожелание.

¹ Это к тому же и не совсем точно. Стихи, написанные от имени Ёко Иринати, появляются в начале 90-х, до журнальных публикаций Ермаковой, и уже с 2000-х она перестала прибегать к этой маске. От чего, на мой взгляд, ее стихи уж точно не стали хуже.

² Кадмин Н. История русской поэзии. В 2 т. М.: Моск. изд-во, 1914–1915. Т. 2: От Пушкина до наших дней. С. 308–311.

Пожелание четвертое: более нового ракурса.

Нынешняя «История русской поэзии» написана достаточно традиционно. Несмотря на вполне современный понятийный аппарат и стиль изложения. Несмотря на выбор модернизма как главного, структурообразующего течения прошлого века и начала нынешнего...

Традиционность здесь, прежде всего, в самой *форме* репрезентации истории поэзии. Как непрерывной и последовательной смены одних поэтических форм другими, всегда более новыми и «актуальными».

Недостатки подобной «прогрессистской» точки зрения на историю поэзии, и историю вообще, идущей от Гегеля и канонизированной позитивистами, — тема отдельного разговора. Эта схема, скажем, не хуже другой, «регрессистской», по которой вся история поэзии после Пушкина оказывается постепенной деградацией. От золотого века — к серебряному, а от того — к бронзовому, и далее по таблице Менделеева.

Дело не в недостатках подобной линейной репрезентации истории поэзии, а в ее, повторяюсь, традиционности и, как следствие, *исчерпанности*. По такой схеме была построена «История...» Кадымина, по ней писалась советская «История...». Воспроизводит ее и нынешняя «История...». Что само по себе опять же не плохо: читатель к подобному типу изложения привык. Был поэт такой-то, написал то-то (цитата, портрет). Потом пришел поэт такой-то, написал вот то-то (цитата, портрет). Было такое-то течение, потом началось такое-то течение... Но хотелось бы, чтобы авторы будущей истории русской поэзии от этого шаблона отошли.

Как? Написать ее, например, *с социологической точки зрения*. Не столько как историю направлений и их представителей, сколько как историю форм организации поэтического процесса и социального влияния поэзии. В нынешней «Истории...» об этом тоже есть, но вскользь и несколько схематично. Социальность укладывается тут, опять же, в традиционную жесткую схему. С одной стороны — репрессивная власть плюс «официальная» поэзия («лоялисты, предельно далекие от поэтической современности»), с другой — сопротивляющаяся ей независимая («настоящая») поэзия. В части о позднесоветском периоде авторы печатавшиеся и «неподцензурные» даже разведены по разным главам... Думаю, социологический анализ дал бы более сложную, менее черно-белую картину.

Или другой возможный ракурс освещения — *региональный*. В нынешней «Истории...» (как и в двух предшествующих) история русской поэзии остается на 90 процентов историей поэзии Москвы и Петербурга. Даже там, где речь идет о поэзии эмиграции, перечисляются, в основном, поэты — выходцы из метрополии. Лишь в главе, посвященной 1990-м и 2000-м годам, пара страниц отведена поэзии российских регионов и бывших советских республик. Но региональность русской поэзии возникла значительно раньше; уже в XIX веке (а то и раньше) существовали поэтические центры за пределами столиц, хотя, разумеется, и не столь богатые именами¹. Однако появившись «региональная» «История русской поэзии» — думаю, обнаружилось бы и какие-то интересные имена.

Могут быть и другие ракурсы. Скажем, гендерная история русской поэзии, с фокусом на авторах-женщинах и на отражении и конструировании в поэтических текстах (написанных как женщинами, так и мужчинами) образа женщины. Прочсть такую историю было бы любопытно, уверен, не одному мне. А еще возможны этническая история русской поэзии, религиозная...

«История русской поэзии не имеет пока исчерпывающего исследования», — писал почти сто лет назад Иванов-Разумник².

Исчерпывающее исследование здесь, думаю, невозможно. Нынешняя «История...» — опыт важный и интересный. Но, надеюсь, — не последний.

¹ В позднесоветский период появляются имена и в регионах, и, особенно, в республиках. Вениамин Блаженный в Белоруссии, Александр Цыбулевский в Грузии, Олжас Сулейменов и Александр Шмидт в Казахстане, Василий Бетехтин в Киргизии (в «Истории...» упомянут только Блаженный...). Названа только часть.

² Иванов-Разумник Р. Русская литература. Берлин: Скифы, 1923. С. 421.

ПЕРЕВОДЫ



Наталья Гинзбург

МОЕ РЕМЕСЛО

Мое ремесло — писательство, и я давно и хорошо это знаю. Я надеюсь, что меня не поймут неправильно: о достоинствах того, что я способна написать, я не знаю ничего. Я знаю, что писательство — мое ремесло. Когда я сажусь и начинаю писать, я чувствую себя необычайно свободно, нахожусь в стихии, которую необычайно хорошо знаю, использую инструменты, которые мне хорошо знакомы, и чувствую, что твердо держу их в своих руках. Если я занимаюсь любым другим делом: изучаю иностранный язык или пытаюсь выучить историю, или географию, или стенографию, если собираюсь произнести речь или вяжу, или путешествую, я мучаюсь и беспрерывно задаю себе вопрос: как те же самые вещи делают другие; я подозреваю, что, должно быть, существует надлежащий метод освоения всего этого, знакомый другим и неизвестный мне. Я чувствую, что оглохла и ослепла, и ощущаю что-то похожее на тошноту. Когда же я пишу, я никогда не думаю, что, быть может, существует лучший метод, которым пользуются другие писатели. Мне совершенно все равно, что делают другие писатели. Важно понимать, что я умею писать только рассказы. Если я пытаюсь писать критическое эссе или заказную статью для газеты, это получается у меня довольно плохо. То, что я тогда пишу, я должна с трудом отыскивать где-то вне меня. Я могу это делать чуть лучше, чем учить иностранный язык или выступать перед аудиторией, но лишь чуть-чуть. И мне все время кажется, что я обманываю близких с помощью заимствованных или там и сям украденных слов. Я мучаюсь и чувствую, будто я на чужбине. Когда же я пишу рассказы, то я словно у себя на родине, на знакомой с детства дороге, в родных стенах и в своем саду. Мое ремесло — писать рассказы, выдуманные истории или те, что помню из моей жизни, но, так или иначе, истории, вещи, к которым образованность не имеет отношения, а лишь память и фантазия. Это мое ремесло, и я буду его делать, пока не умру. Я очень довольна этим ремеслом и не променяю его ни на что на свете. Я поняла, что это мое ремесло, давно. Между пятью

и десятью годами я еще сомневалась и иногда воображала, что могу рисовать или покорять верхом страны, или могу изобретать новые, очень нужные машины. Но с тех пор, как мне исполнилось десять, я уже точно знала и как могла старалась изо всех сил писать романы и стихи. У меня еще сохранились эти стихи. Сначала они выходили корявыми, с плохими рифмами, но довольно живыми, а со временем я стала сочинять стихи все менее корявые, но все более скучные и глупые. Но я этого не понимала и стыдилась корявых стихов, а те, не такие корявые, но глупые, наоборот, казались мне очень хорошими. Я все время мечтала о том, что в конце концов какой-нибудь знаменитый поэт увидит их и опубликует, и напишет обо мне длинные статьи, я придумывала слова и предложения для этих статей и мысленно их писала целиком. Я мечтала выиграть премию Фракки. Я слышала, что эта премия присуждается писателям. Не имея возможности опубликовать сборник своих стихов, так как я не знала ни одного знаменитого поэта, я добросовестно переписывала их в тетрадь, рисовала цветочек на титульном листе и составляла оглавление. Я стала писать стихи очень легко. Я писала чуть ли не по стихотворению в день. Я обнаружила, что, если мне не хотелось писать, достаточно только было прочесть стихи Пасколи, или Гоццано, или Кораццини, как тут же появлялось желание. Они и выходили у меня под Пасколи, или под Гоццано, или Кораццини, а позже и под Д'Аннунцио, когда я открыла для себя еще и его. Я, тем не менее, никогда не думала, что буду всю жизнь писать стихи. Мне неприменно хотелось писать романы. В те годы я написала их три или четыре. Был роман под названием «Марион и цыганка» и другой, юмористический и детективный, под названием «Молли и Долли», а еще один, написанный во втором лице, под Д'Аннунцио, назывался «Одна женщина» — история женщины, брошенной мужем. Мне запомнилось, что там была чернокожая кухарка. Был еще один, длинный, с запутанным сюжетом, с ужасными историями о похищенных девушках и каретах; я писала его до тех пор, пока, когда я осталась дома одна, мне не стало страшно его писать. Я помню только, что там была одна фраза, которая мне ужасно нравилась, и что, когда я ее писала, у меня полились слезы: «Он сказал: „Ах, Изабелла уходит“». Глава заканчивалась этой фразой, очень важной, потому что ее произ-

носил мужчина, влюбленный в Изабеллу, но еще не знавший этого, еще не признавшийся в этом самому себе. Я не помню ничего об этом мужчине, мне кажется, что у него была рыжая борода, у Изабеллы были длинные, иссиня-черные, блестящие волосы; я не помню других подробностей, лишь то, что длительное время меня охватывала радостная дрожь, когда я мысленно повторяла: «Ах, Изабелла уходит». Я также часто повторяла одну фразу, которую встретила в романе, напечатанном в приложении к «Стампе»: «Убийца Джилонне, что ты сделал с моим ребенком?» Но я не была так же уверена в своих романах, как в своих стихах. Перечитывая их, я всегда обнаруживала слабые места, что-то неудачное, что все портило и что мне не удавалось исправить. Я постоянно смешивала современность и прошлое, мне не удавалось разместить их в надлежащем времени, в романах было немножко монастырей и карет, немножко обстановки французской революции, немножко полицейских с дубинками и совершенно неожиданно появлялась седая представительница мелкой буржуазии со швейными машинками и котами, как в книжках Каролы Проспери. Рядом с каретами и монастырями это и в самом деле было нехорошо. Меня бросало от Каролы Проспери к Виктору Гюго и к рассказам Ника Картера, и я не очень хорошо понимала, чего я хотела. Мне очень нравилась также Анни Виванти. Там была одна фраза в «Поглотителях», когда она пишет незнакомцу: «У меня коричневое платье». Эту фразу я тоже повторяла про себя много раз. В течение дня я бормотала про себя эти фразы, которые мне очень нравились: «убийца Джилоне», «Изабелла уходит», «у меня коричневое платье» — и чувствовала себя неизмеримо счастливой.

Писать стихи было просто. Мои стихи мне очень нравились, они казались мне почти совершенными. Я не понимала, чем они отличались от настоящих, опубликованных, от стихов настоящих поэтов. Я не понимала, почему, когда я их давала почитать моим братьям, они усмехались и говорили мне, что лучше бы я учила греческий. Я думала, что, вероятно, мои братья мало что смыслят в поэзии. Между тем, я должна была ходить в школу и учить греческий, латынь, математику и историю, я очень мучилась и чувствовала себя там, как на чужбине. Я проводила дни в сочинении стихов и переписывании их в тетради и не де-

лала уроки. Тогда я ставила будильник на пять утра. Будильник звенел, но я не просыпалась. Я просыпалась в семь, когда делать уроки уже не оставалось времени, а нужно было одеваться, чтобы идти в школу. Я не чувствовала радости, а постоянно испытывала ужасный страх, смятение и чувство вины. Я ходила в школу, на уроке латыни делала историю, на уроке истории греческий, и так каждый день, и не усваивала ничего. Я довольно долго думала, что мои стихи так прекрасны, что они стоят мучений, но в какой-то момент у меня закралось сомнение в том, что они были такими уж прекрасными, и мне стало скучно их писать, с трудом находить темы; мне казалось, что я исчерпала все возможные темы и уже использовала все возможные слова и рифмы: надежды — вежды, необычайна — тайна, добро — серебро, существование — благоухание. Я больше не знала, о чем говорить. Тогда у меня начался очень нехороший период, я проводила дни, перебирая слова, которые не доставляли мне никакого удовольствия, испытывая чувство вины и стыда из-за школы; но мне никогда не приходило в голову, что я ошиблась в выборе своего ремесла, я так хотела писать, я только не понимала, почему вдруг дни сделались такими бесплодными и скудными на слова.

Первая серьезная вещь, которую я написала, был рассказ. Короткий рассказ в пять-шесть страниц. Он появился каким-то чудом однажды вечером, и когда я леглась спать, то была вымотана, оглушена и ошеломлена. Я чувствовала, что написала серьезную вещь, первую из всего того, что я когда-либо написала: стихи и романы с девушками и каретами мне сразу показались очень далекими, искусственными и нелепыми созданиями навсегда ушедшей эпохи. В этом новом рассказе были главные герои. Изабелла и мужчина с рыжей бородой главными героями не были. Я ничего о них не знала, только фразы и слова, которыми я пользовалась, чтобы их описать, и которые достались мне по случаю, произвольно. Слова и фразы были выужены случайно, как будто у меня был мешок, и я наугад вытаскивала то бороду, то чернокожую кухарку или что-то еще, готовое к употреблению. Но на этот раз это была не игра. На этот раз я придумала героев с именами, которые я не могла бы изменить, я не могла бы изменить ничего, касающегося их, я знала об их жизни множество подроб-

ностей, какая она была до того дня, с которого начинался мой рассказ, даже если в рассказе я об этом не упоминала, потому что в этом не было необходимости. И я знала все о доме, о мосте, о луне, о реке. Мне было тогда семнадцать лет, я провела латынь, греческий и математику. Я очень плакала, когда об этом узнала. Но сейчас, когда я написала рассказ, мне было немного менее стыдно. Это было летом, летней ночью. Окно в сад было раскрыто, и темные бабочки кружились вокруг лампы. Я написала свой рассказ на бумаге в клетку и чувствовала себя такой счастливой, какой еще никогда в жизни себя не чувствовала, переполненной мыслями и словами. Мужчину звали Маурицио, женщину звали Анна, а ребенка звали Вилли, и там еще был мост, луна и река. Все эти вещи жили во мне. Мужчина и женщина не были ни добрыми, ни злыми, а смешными и немного жалкими, и мне казалось тогда, что я открыла, что такими всегда и должны быть люди в книгах, одновременно смешными и жалкими. Этот рассказ казался мне прекрасным, с какой бы стороны я его ни рассматривала, в нем не было ни одной ошибки: все происходило вовремя, в правильный момент. Теперь, мне казалось, я могла бы написать миллионы рассказов.

И действительно, с интервалом в один-два месяца определенное их количество я написала, некоторые довольно хорошие, другие нет. И тогда я поняла, что, когда мы пишем серьезную вещь, мы устаем. И если мы не устаем, это плохой признак. Напрасно надеяться на то, что можно написать что-то серьезное легко, будто одной левой, весело порхая. Невозможно отделиться легко. Когда пишешь серьезную вещь, падаешь в нее и тонешь в ней; и если ты захвачен сильными эмоциями, если ты по какой бы то ни было причине, назовем ее земной, не имеющей никакого отношения к тому, что ты пишешь, очень счастлив или очень несчастлив, тогда, если то, что ты пишешь, подлинно и достойно жизни, любое другое чувство затихает. Напрасно надеяться, что можно сохранить в целости свое драгоценное счастье или свое драгоценное несчастье, все отходит и исчезает, и ты остаешься наедине со своей страницей; невозможно испытывать никакое счастье и никакое несчастье, напрямую не связанные с этой страницей, тебе ничто не принадлежит, и ты ничему не принадлежишь, и если с тобой этого

не происходит, это признак того, что твоя страница не имеет никакой ценности.

Итак, какое-то время я писала короткие рассказы, этот период продолжался около шести лет. Так как я сделала открытие, что в рассказах существуют герои, мне казалось, для того, чтобы получился рассказ, достаточно найти героя. Поэтому я все время выходила на охоту за героями, разглядывала людей в трамвае и на улице, и когда находила внешность, подходящую для рассказа, я сочиняла для нее психологические детали и небольшую историю. Я также охотилась за деталями одежды, интерьерами и особенностями местности. Если я входила в незнакомую комнату, я старалась мысленно ее описать и найти несколько мелких деталей, подходящих для рассказа. Я завела записную книжку, куда вносила добытые детали, сравнения и небольшие сцены, которые собиралась использовать в рассказе. В записную книжку я записывала, например, так: «Он вышел из туалета, волоча за собой, как длинный хвост, кушак халата». «„Как воняет в этом доме уборная, — сказала ему девочка. — Когда я туда вхожу, я никогда не дышу“, — печально добавила она». «Ее кудри как гроздь винограда». «Красные и черные одеяла на неубранной постели». «Лицо бледное, как очищенный картофель». Однако я обнаружила, что, когда я пишу рассказ, эти фразы были мне нужны крайне редко. Записная книжка стал своего рода музеем фраз, насквозь окаменелых, набальзамированных и для использования непригодных. Я множество раз пыталась вставить в рассказы красные и черные одеяла или кудри, как виноградные гроздьи, и мне это никогда не удавалось. Так что записная книжка оказалась бесполезной. Я поняла тогда, что в этом ремесле не существует сбереженный. Если кто-то думает: «Это интересная деталь, и я не хочу ее потратить на рассказ, который сейчас пишу, в нем уже и так много прекрасных находок, я приберегу ее для другого рассказа, который еще напишу», — то эта деталь у него внутри окаменеет, и ее уже будет невозможно использовать. Когда пишешь рассказ, ты должен кидать в него все самое лучшее, чем владеешь и что видел, все самое лучшее, что ты собрал за всю свою жизнь. А детали изнашиваются и портятся, когда их долго держат при себе без употребления. Не только детали, но и все находки и все идеи. В ту эпоху, когда я писала свои короткие рассказы, смакуя удач-

но найденных персонажей и мельчайшие детали, я однажды увидела проезжающую по улице телегу, на которой лежало зеркало, большое зеркало в позолоченной раме. В нем отражалось зеленоватое вечернее небо. Я остановилась и, пока оно проезжало мимо меня, смотрела, испытывая огромное счастье, чувствуя, что произошло что-то важное. Я чувствовала себя очень счастливой еще до того, как увидела зеркало, и мне вдруг показалось, что это проезжает образ моего собственного счастья. Зеленое сияющее зеркало в позолоченной раме. Я долго думала, что помещу его в какой-нибудь рассказ, долгое время воспоминание о телеге с лежащим на ней зеркалом давало мне желание писать. Но мне никак не удавалось никуда его вставить, и в какой-то момент я поняла, что оно мертво во мне. И все же оно оказалось очень важным. Потому что, когда я писала свои короткие рассказы, я всегда сосредотачивалась на бесцветных и убогих людях и вещах, выискивала реальность ничтожную и бесславную. Мой вкус к откапыванию мельчайших деталей был с моей стороны злонамеренным, жадным и ничтожным интересом к мелким вещам, мелким, как блохи; с моей стороны это была упорная и недобрая ловля блох. Мне показалось, что зеркало на телеге предлагало мне новые возможности, возможность увидеть прекрасную и более яркую, и более лучезарную реальность, которая не требует мелочного описания и изобретательных находок, но может быть воплощена в ярких и счастливых образах.

В глубине души я презирала героев коротких рассказов, которые я тогда писала. Поскольку я для себя открыла, что жалкий и смешной герой — это удачная находка, то, усиливая эффект комического и вызывая жалость, я делала их людьми, такими жалкими и бесславными, что сама не могла их любить. У моих героев всегда были тики или мании, физическое уродство или небольшой гротескный изъян: сломанная рука, висящая в черной повязке, ячмень на глазу, заикание, или они, когда говорили, почесывали зад, или чуть прихрамывали. Мне всегда было необходимо описать их таким образом. Это был мой способ избавления от страха того, что они получатся расплывчатыми, способ поймать их человеческую сущность, в которой я сама подсознательно сомневалась. Потому что я тогда не понимала, хотя в период зеркала на телеге смутно начала пони-

мать, что обращаюсь с ними скорее не как с героями рассказа, а как с марионетками — неплохо описанными и похожими на настоящих людей, но марионетками. Как только я их задумывала, я тут же наделяла их гротескной деталью, и в этом была какая-то мелочная злость, была во мне тогда какая-то злая обида на действительность. Эта обида не была основана на чем-то реальном, потому что я была тогда девушкой счастливой, скорее она возникла как реакция на простодушие, как тот особый вид обиженности, которая бывает защитой простодушного человека, всегда склонного думать, что над ним будут подсмеиваться, крестьянина, оказавшегося впервые в городе и в каждом видящего вора. Вначале я этим гордилась, я считала, что это большая победа иронии над простодушием и над пылкой сентиментальностью ранней юности, такой явной в моей поэзии. Я считала, что в моих руках ирония и злость — очень серьезное оружие, которое может мне помочь писать по-мужски, потому что я тогда страшно хотела писать по-мужски и страшно боялась, что из того, что я пишу, понятно, что я женщина. Я почти всегда делала своих персонажей мужчинами, потому, что они были дальше всего от меня.

Я научилась довольно умело выстраивать рассказы, удалять все ненужное, вставлять в подходящий момент детали и диалоги. Я писала сухие и ясные рассказы, гладко катящиеся с начала и до конца, без шероховатостей и погрешностей стиля. Но в какой-то момент мне все это надоело. Лица людей на улицах больше не говорили мне ничего интересного. У кого-то был свинарник, у кого-то была кепка задом наперед, а у кого-то платок вместо рубашки, но для меня это уже не имело значения. Мне надоело смотреть на вещи и на людей и их мысленно описывать. Мир замолчал для меня. Я больше не находила слов, чтобы его описать. Я больше не находила слов, которые бы доставляли мне удовольствие. У меня больше ничего не было. Я пробовала вспомнить зеркало, но и оно умерло во мне. Я тащила на себе тюк набальзамированных вещей, онемевших лиц, слов, превращенных в пепел, места, голоса и жесты, которые не вибрировали, а мертвым грузом лежали у меня на сердце. А потом у меня родились дети, и вначале, когда они были очень маленькими, я не могла представить себе, как можно писать, имея детей. Я не понимала, как

я смогу отделить себя от них для того, чтобы следовать за каким-то героем в рассказе. И это вызвало у меня презрение к моему ремеслу. Я испытывала иногда отчаянную ностальгию по нему, чувствовала себя на чужбине, но заставляла себя презирать его и подшучивать над ним для того, чтобы заниматься только детьми. Я считала, что должна так делать. Меня занимала рисовая каша и перловая каша, было солнце или не было солнца, был ветер или не было ветра, лишь только для того, чтобы вывести детей на прогулку. Дети, я думала, дело слишком важное, чтобы пропадать в этих глупых рассказах, в глупых набальзамированных персонажах. Но я испытывала жестокую ностальгию и несколько раз ночью чуть не заплакала, вспоминая, как прекрасно было мое ремесло. Я думала, что однажды к нему вернусь, но не знала когда, думала, что я должна подождать, пока мои дети не станут мужчинами и не уйдут от меня. Потому что к тому чувству, которое у меня тогда было к моим детям, я не могла еще привыкнуть и с ним справляться. Но позже я постепенно научилась. Это даже не заняло у меня много времени. Я продолжала выжимать помидорный сок и варить манную кашу, но вдруг начала думать, о чем хочу написать. Мы жили тогда в очень красивой деревне на Юге. Я вспоминала улицы и холмы моего города, и эти улицы и холмы слились с улицами, и холмами, и полями деревни, в которой мы жили сейчас, и так родился новый мир, что-то, что я могла заново любить. Я тосковала по своему городу, очень любила его в воспоминаниях, я так полюбила его и поняла его значение для меня, как, может быть, никогда не понимала, когда я там жила, и еще я полюбила деревню, в которой жила сейчас, пыльную и выбеленную южным солнцем деревню, просторные луга с колючей, выжженной травой, растилающиеся под моими окнами, а память властно уносила меня к бульварам моего города, к платанам и высоким домам, и во мне тогда все это начинало радостно гореть, и мне очень сильно хотелось писать. Я написала длинный рассказ, самый длинный из всех, что я когда-либо написала. Я опять начала писать, но как человек, который не писал никогда; так как я уже давно не писала, слова казались промытыми и свежими, все было первозданным, наполненным вкусами и запахами. Я писала днем, когда мои дети гуляли с девушкой из деревни,

писала жадно и радостно. Стояла прекрасная осень, и я каждый день чувствовала себя такой счастливой. В моем рассказе были выдуманные люди и реальные, жители этой деревни, а также ко мне пришли слова, которые в деревне постоянно употребляли и которых я раньше не знала, несколько ругательств и выражений, и эти новые слова, как дрожжи, поднимали, сбрасывали и давали жизнь еще и всем остальным, старым словам. Главной героиней была женщина, но совершенно не похожая на меня. Сейчас я уже не стремилась писать, как мужчина, потому что у меня были дети, и я знала множество вещей о помидорном соке, и даже если я не вставила их в рассказ, все равно то, что я их знала, пригодилось мне в моем ремесле, таинственным и неявным образом это тоже служило моему ремеслу. Я считала, что женщины знают о своих детях то, что мужчина не мог бы никогда узнать. Я писала свой рассказ в основном в спешке, как будто боялась, что он от меня убежит. Я называла его романом, но, наверное, это был не роман. В любом случае, я всегда писала в спешке и вещи довольно короткие, и в какой-то момент я поняла почему. Потому что мои братья были гораздо старше меня, и когда я, маленькая, что-то рассказывала за столом, они всегда приказывали мне замолчать. Поэтому я привыкла говорить все очень быстро, стремительно и, по возможности, с наименьшим количеством слов, я всегда боялась, что остальные вернуться к своим разговорам и перестанут меня слушать. Возможно, это объяснение покажется немного глупым, но именно так, видимо, и было.

Я сказала, что тот период, когда я писала то, что назвала романом, был для меня очень счастливым временем. В моей жизни никогда не происходило ничего серьезного, я не знала ни болезней, ни предательства, ни одиночества, ни смерти. Ничто в моей жизни не рушилось, кроме пустяков, ничего из того, что было дорого моему сердцу, не было у меня отобрано. Я страдала только от праздной меланхолии ранней юности и от переживания, что не знаю, как писать. Я была тогда счастлива полным и безмятежным счастьем, без страха и тревоги, с верой в устойчивость и прочность в жизни счастья. Когда мы счастливы, мы более спокойны, открыты и свободны от собственных обстоятельств. Когда мы счастливы, мы скорее склонны придумывать персонажей, сильно отличающихся от

нас самих, видеть их в холодном свете отчужденности, мы отрываем взгляд от нашей счастливой и удовлетворенной души и пристально разглядываем других, без сочувствия, бесцеремонно, небрежно и безжалостно, мы иронично и высокомерно судим о них, в то время как в нас во всю силу работают фантазия и энергия воображения. Нам легко удается придумывать персонажей, много персонажей, принципиально не похожих на нас, и нам удается писать рассказы, прочно выстроенные и высушенные в резком и холодном свете. То, чего нам недостает, когда мы счастливы тем особенным счастьем без слез, без тревоги и без страха, — нам недостает интимных и нежных отношений с нашими героями, местами и событиями, о которых мы рассказываем. То, чего нам тогда недостает, — это сочувствие. Казалось бы, мы гораздо более щедры, у нас всегда найдется энергия, чтобы интересоваться другими, мы охотно дарим им нашу заботу и, ни в чем не нуждаясь, мало интересуемся своими делами. Но подобный интерес к другим людям настолько лишен участия, что постигает только немногие, довольно внешние черты их личности. Мир для нас имеет только одно измерение, он лишен тайн и теней, нам удастся догадаться и написать про неведомую нам скорбь благодаря вдохновляющей энергии фантазии, но судим мы о ней при стерильном и холодном свете вещей, которые не стали частью нас, не пустили в нас корни.

Наше личное счастье или несчастье, условия нашего земного существования имеют огромное значение для того, что мы пишем. Я говорила раньше, что человек в момент, когда пишет, получает чудодейственный импульс, позволяющий пренебречь условиями собственной жизни. Конечно это так. Но счастливы мы или несчастны, влияет на то, что мы пишем так, а не иначе. Когда мы счастливы, наша фантазия работает с большей энергией; когда мы несчастны, живо работает наша память. Страдание делает нашу фантазию слабой и ленивой. Она приходит в движение, но нехотя и вяло, устало, нетвердой походкой больного, оберегая страдающее и лихорадящее тело; нам трудно оторвать взгляд от собственной жизни и нашей души, от одолевающих ее жажды и душевной смуты. В вещах, которые мы тогда пишем, беспрерывно всплывают воспоминания о нашем прошлом, не умолкает наш собственный

голос, и нам никак не удастся заставить его замолчать. Между нами и персонажами, которых мы тогда создаем, которых нашей, хоть и вялой, фантазии удастся придумать, рождаются особые отношения, нежные и как будто материнские, отношения удушающей кровной близости, теплые и влажные от слез. Мы глубоко и болезненно укоренены во всем живом и во всех явлениях мира, наполняющегося эхом, дрожью и тенями, с которым мы связаны почтительным и горячим состраданием. И тогда мы рискуем потерпеть кораблекрушение в темном озере с мертвой и стоячей водой и утянуть за собой собственные творения, бросить их погибать вместе с нами в темном и тепловатом омуте, среди мертвых мышей и истлевших цветов. Для того, что мы пишем, скорбь опасна так же, как и счастье. Потому что поэтическая красота — это совокупность жестокости, высокомерия, иронии, плотской любви, фантазии и памяти, света и тьмы, и, если нам не удастся достичь всего этого вместе, результат будет скудным, ненадежным и нежизнеспособным.

И заметьте, нельзя надеяться на то, что писательство утолит вашу скорбь. Нельзя обольщаться, что ты будешь согрет и убаюкан своим мастерством. В моей жизни была череда пустых и одиноких воскресений, когда я страстно хотела написать несколько вещей, чтобы утешить себя в одиночестве и скуке, чтобы быть обласканной и убаюканной фразами и словами. Но мне не удалось выжать ни одной строчки. В тот раз мое мастерство отвергло меня, не хотело меня знать. Потому что это ремесло никогда не утешение и не развлечение. Оно не товарищ. Это ремесло — хозяин, готовый избить нас до крови, хозяин, который кричит и взыскивает. Мы должны вытереть сопли и слезы, стиснуть зубы, остановить кровь из раны и служить ему. Мы служим ему, когда оно нам приказывает. Тогда и оно помогает нам держаться, твердо стоять на земле, помогает победить безумие и бред, отчаяние и смятение. Но оно желает приказывать, и всякий раз отказывается считаться с нами, когда мы в нем нуждаемся.

Мне довелось в полной мере узнать горе после того, как я жила на Юге, настоящее непоправимое и неизлечимое горе, которое разрушило всю мою жизнь, и когда я пыталась как-то снова ее собрать, то увидела, что и я, и моя жизнь, по сравнению

с прежней, изменились до неузнаваемости. Неизменным осталось мое ремесло, но даже и о нем было бы совершенно неверно сказать, что оно не изменилось; его инструменты остались прежними, но я пользовалась ими по-другому. Сначала я ненавидела его, испытывала к нему отвращение, но я прекрасно знала, что закончу тем, что буду опять ему служить, и оно меня спасет. И так иногда мне удавалось думать, что моя жизнь не такая уж несчастливая и что я несправедлива, когда жалуясь на свою судьбу и не признаю всей ее благосклонности ко мне, потому что она дала мне троих детей и мое ремесло. С тех пор я и представить не могла свою жизнь без ремесла. Оно было всегда, оно никогда, ни на минуту не покидало меня, и когда я думала, что оно дремлет, его бдительное и ясное око все же присматривало за мной.

Таково мое мастерство. Много денег, как вы понимаете, оно не приносит; мало того, чтобы заработать на жизнь, мне всегда нужно делать еще и что-то другое. Но иногда оно дает плоды, и иметь деньги благодаря ему так же сладостно, как принимать деньги и подарки из рук любимого человека. Таково мое мастерство. Я не могу судить, повторяю, о ценности полученных результатов и тех, что, возможно, еще получу, или, скорее, я знаю об относительной ценности уже достигнутых результатов, но точно не об абсолютной. Когда я что-то пишу, я обычно думаю, что это очень важно и что я великий писатель. Я думаю, это происходит с каждым. Но есть в моей душе закуток, где я всегда и отлично знаю, кто я, а именно — маленький писатель. Клянусь, я это знаю. Но это не имеет для меня большого значения. Я не хочу думать об именах — чувствую, что если меня спрашивают: «Маленький писатель, как кто?» — мне грустно называть имена других маленьких писателей. Я предпочитаю думать, что такого, как я, никогда не было, каким бы маленьким, как блоха или комар, писателем я ни была. Наоборот, важно верить, что именно это ремесло, эту профессию, это дело будешь делать всю жизнь. Но, иметь такое ремесло не фунт изюма. Существуют бесчисленные опасности, кроме тех, о которых я уже говорила. Нам постоянно угрожают серьезные опасности как раз в тот момент, когда мы заполняем страницу. Это опасность вдруг начать кокетничать, а также с пафосом запеть. Мне всегда безумно хочется запеть,

и чтобы этого избегать, я должна быть очень бдительной. Также существует опасность обмана: использовать слова, которых у нас на самом деле нет, которые мы выудили случайно снаружи и умело составили вместе, потому что мы стали достаточно ловкими. Есть опасность начать лукавить и обманывать. Как видите, это довольно трудное ремесло, но оно самое прекрасное в мире. Наши дни и дела, дни и дела других людей, свидетелями которых мы стали, чтение и воображение, размышления и разговоры его питают, и оно растет и крепнет в нас. Это ремесло, которое также кормится и ужасными вещами, оно поедает лучшее и худшее в нашей жизни, наши злые чувства, так же как и добрые, текут в его крови. Оно питается нами, растет и крепнет в нас.

1949

Перевод с итальянского Ирины Фейгиной

Кшиштоф Шатравский

МЕЧТА О ТИШИНЕ

время всему миновать

все замедляется, точно с умыслом
избежать завистливых взглядов и слов, будто
немые часы начали отставать
всякое бытие свершается в тишине
так же осмотрительно и осторожно, как
ночная бабочка летает за пределами круга света
побеги фасоли перебираются через садовую сетку
музыка замолкает в темноте леса, и
в ожидании ответов на все вопросы
нам удастся превозмочь свою слабость
отдаться ожиданию, смириться
с неизбежным провалом, пустой тратой сил
и бесплодным желанием, что поглощает
наши жизни и расточает сбереженные мгновения
даже небытие идет своей дорогой
не прибегая к помощи тоски
словно поздно уже для наивности
унаследованной вместе с именем и цветом глаз
как будто слова слагаются только из букв
а кровь имеет запах свежей типографской краски

ex motu

если бы одно не следовало за другим
как в стремительной фуге Баха
и можно было вынести определенность
и ожидание, такое мучительное, прямо-таки бесконечное
если бы вера в Бога была только верой
и Дьявол закрыл глаза и устроился среди листвы
с удовольствием обгрызая
когти, ломая побелевшие пальцы

если бы разведенные мосты и токкаты все еще соединяли берега
а также равнинные реки, бегущие с унесенными с гор
почерневшими досками и темными снами низин
если бы реки могли обратиться вспять, если бы имена
не повторялись так тихо и бесконечно
на надгробных плитах, приглашениях и векселях
а земля снова могла принадлежать Богу, который
благословляет пахаря и его ненадуманнные думы
среди трав и молчания насекомых
и, может, если бы я мог припомнить первую мечту
и если бы ее потеря была лишь воскресением желания
а исполнение — просто плодом мечты
может, время стало бы только математической постоянной
магнетическим дополнением
к шестеренкам всеобщей истории
и, может, если бы часовщики
не склонились все скопом над нежным ее механизмом
вместо починки курантов на ратуше
их дети смогли бы вернуться с дороги
проложенной кем-то неведомым
но тогда все было бы уже не так, как есть
несуществующие результаты и причины
заточили бы в словарь ненужных слов
и ничто ни за чем не следовало бы
только звуки, кружащие в фугах Баха
тающие в мелодиях хоралов
где-то высоко, над головами мечтающих о тишине

равнодушная бесконечность

здесь все кажется вечным
даже время, переводчик больших пространств
на язык повседневных надежд и сомнений
даже мимолетность, и только путешествие
проходит так быстро, все сокращаясь и сокращаясь, хотя
мы каждый день меняем имена и лица
пункт назначения выбран из расписания
ночных автобусов, дополнительных поездов

мы стираем адреса друзей с зеркального стекла
на котором кто-то начертил наши силуэты
такой ли должна быть наша жизнь
в конечном счете
этот мир, в котором мы не живем
намного больше того света
его не охраняют ангелы с винтовками
или собаки, натасканные убивать
все имена звучат одинаково
даже даты, отмеченные в календаре
не подпитывают мертвых иллюзий

встреча

ты подаешь мне ледяную руку
настало время официальных приветствий
мы произносим дежурные слова
вежливо улыбаемся
как политики или маклеры
не говорим о чем-либо существенном
каждый знает свою роль
мы понимаем, что через минуту
нас поразит нетерпеливая стрела
спешащего календаря, что мы забудем
о встречах, обещаниях и датах
сердца останутся в тени
юбилеев и праздников, а потом и нас забудут
новые поколения
и, наверное, по этим неясным причинам
когда наши руки встречаются
мой голос становится хриплым, хоть я не замерз
и, видно, поэтому я продолжаю
озираться с тревогой
холодный ветер читает мои мысли
холодный ветер шепчет тебе на ухо секреты
которых я не могу разгадать

безопасные отношения

пока ты говоришь со мной
ничего не может случиться
страх перед неназванным
превращается в детскую считалку
или справочник по неизлечимым болезням
но симптомы не беспокоят
грузовики больше не пытаются
сбить меня на переходе
пауки спят в своих укрытиях
бандиты и полицейские
отправляются в дальние районы
где предаются какой-то новой игре
я не слышу чужих голосов за стеной
только музыка где-то нежно парит
и в ней надежда и истина
и любовь

пока ты говоришь со мной
ничего плохого нас не постигнет
смотри
загорается радостная ночь
ясная ночь над нами
и никакое зло не победит
пока ты говоришь
над миром парят ангелы

а потом ты молчишь
и птицы поют рассвет

тихие слова

если мир смог уместиться
в одном только слове, то сон, однажды рассказанный
должен вернуться припевом
ничего ведь случайного не бывает
пришла весна, время влюбленных, время музыки

мы гуляем среди внезапно расцветающих деревьев
расстаемся не торопясь
засыпаем дольше обычного
среди ночи звонят знакомые, рассказывают
о счастливых случаях
о надежде, правде и любви
я закрываю глаза и вижу твой профиль
и радуюсь вместе с ними их счастьем
потом долго не могу заснуть

ноябрьское солнце

полдень, ноябрьское солнце
сквозит между крышами
и мокрым асфальтом
наконец я добрался до места
финал кантаты Иоганна Себастьяна Баха
о тайне искупления
о грехе и окончательной победе истины
о хорошо сваренном черном кофе
каватина уносится в птичьи регистры
бой курантов на ратуше
я, припозднившись, заполняю гостевую карточку
внезапный вихрь уносит птиц
в пустоте раздаются их мертвые голоса

как утверждают жители Вены, кофе
должен быть крепким, ароматным
и, конечно, сладким, как первая любовь
но сегодня он
с запахом ноябрьского солнца
и вот мы беседуем о политике
и тому подобных несущественных вещах
о повседневной жизни, забывающей
о быстротечности, не помнящей
о вкусной еде и о кофе
этом нашем празднике

позже в тишине
мы разгадываем свои мысли
тихо пьем эту тишину
и она внезапно пронизывает холодом
и мы помним всё
и всё запомнит нас
и каждая любовь — первая
как взгляд, отраженный в чашке
а потом снова ноябрь
запах кофе, полдень
и солнце начинает заходить

Перевод с польского Евгении Добровой

Ури Цви Гринберг

ИЗ ЦИКЛА

«СМЕРТЬ — ТЫ ВЕЧНЫЙ ВЛАДЫКА И ВРАГ»

3

Вгляделся я зорче в лицо мудреца:
он складывал мертвых, как в ряд кирпичи,
чтоб строить в глубинах. А вдруг мертвецы —
посланцы могильщика, в бездну гонцы?
Такой, я решил, не теряет лица:

страданием нашим не мучится он,
а в сердце — один из могильных камней.
Помрет, только если забьют топором —
На подвиг не выйдет он ради людей.
И будет ржаветь, как лопата его,
которой заруют его самого.

Такой не гнушается с глазу на глаз
со смертью болтать. Они слились давно
в одно. На кладбищенском поле весь день
он пашет, ее выполняя наказ.

А на ночь спешит запереть поскорей
железные створки скрипучих дверей...
Он думать не станет, что так же зарыт
окажется вскоре, и всеми забыт.

Как жизненным соком налит виноград —
могильщик — он запахом смерти налит.
Он впитывать плесень могильную рад
и падаль с червями его не страшит.

На камень могильный присев наугад,
он хлеб свой доест, запивая водой,
он трубку набьет и закурит табак
из листьев, слетевших в промокший овраг,
из мертвой золы пополам с лебедой.

Детеныши есть у него и жена...
Но я не пойму, как смогла понести
от мужа, что роет могилы, она?
Разрушится все, но никак не уйти
от зеркала, что отражает сполна
деревья без тени, шаги без пути.

6

В кроне сосны корабельной ворон построил дом.
Но разыгралась буря над деревом и гнездом.
Веткигнулись, качались на леденящем ветру,
дерево надломилось и упало в траву.
Лежало, еще зеленое, смола сочилась в листву.
Ворон, не в силах смириться с утратой гнезда,
Наверное, плакал. Да, он плакал тогда.
Мы, разумные люди, никак не можем понять,
Что ворон о милости просит. Что боль не в силах унять.
Хрип его резкий, скрипучий, вселяет тревогу в нас —
певчие птицы, скорее, пораруйте слух и глаз!

Прочих пернатых, я думаю, ворон грустней:
он заранее знает: жизни конец предрешен.
Питается мертвечиной, думая, что постиг
самую сущность смерти. Как же наивен он!
На тризне пируя, верит, что гибель прогнал на миг!
Со дня своего рождения и до кончины своей
борется ворон со смертью. «Каррать!» — он кричать привык.

Ворона мы ненавидим. Он смерти предвестник. Он враг.
Вечно он облачается в черный траурный фрак.
Песни весны беспечной пой нам, пичужка, пой.
Ворон иссушен горем. Кашляет ворон тоской.

7

Канаву копали рабочие. Оп — и скелет нашли.
 Когда-то он был человеком. Сегодня — кости в пыли.
 Мы тоже предстанем однажды перед глазами живых
 горсткой костей сухих.

Где же очи твои, небесной лазури синей,
 спелых вишен чернее, медовее янтаря?
 Шелковый блеск волос отняла сырая земля?
 Где ты плоть растеряла, гряда мощей!

Ночью ливень хлестал и проникал до дна
 в плоть Новосела. Хозяина свежей могилы.
 Кому он теперь интересен? Зарыли и позабыли.
 Мокнут под саваном ноги, живот, спина...

Неспешно пройдут года. Истлеют саван и плоть,
 Один скелет сохранится. Вот он, жизни венец.
 Когда бригадир прикажет со стройки его убрать,
 Поднимут его — и кости развалятся наконец!

На этом на самом месте сточная ляжет труба —
 здесь будет построен дом, и дети родятся в нем.
 Но так же в могилы лягут — вот такая судьба.
 Скелеты найдут строители солнечным ясным днем.

Это замкнутый круг. От начала времен
 прокляты Богом мы. И нет спасения нам.
 В тесной темной могиле станем пищей червям.
 Человек обречен?

8

Мы продолжаем скорбеть о близких, любимых,
 умерших. Мы смерти боимся.
 Звери дрожат, как и люди. Их тоже страшит неизвестность.
 Значит, мы не смирились и смириться не сможем
 с непреложным законом смерти, присущим всему живому.

Страдальческий взор устремляет больной
к Всевышнему в небе, к врачу на земле — на избавленье надеясь.
Столпились живые,
ожидая, что доктор вердикт огласит,
слегка улыбнется, сказав: «Опасности нет,
и время отдать Богу душу еще не пришло».

Восславим врачей. Подвижников, жизнь посвятивших
битве с болезнью. Борющихся денно и ночью
с непреложным законом смерти, присущим всему живому.
Словно Творец за миг до Творенья,
Благоговеют ученые перед грядущим открытием!

Амен, веруя я: придет избавления день.
Скоро мир от конца и до края, словно орган, заиграет.
«Эврика! Я смерть победил!» — скажет гений,
сердца воспоют Осанну Божественному Врачу.

Это гимн утопающих, желанного берега достигших:
боль прекратилась, страхи исчезли навек.
Человек здоров и свободен, царствовать может и петь.
Сердце раскрылось. Хочешь — мечтай и люби,
погружайся в Глубины Глубин иль возвращайся к истокам,
пробуй, твори, ошибайся —
бесконечный мир перед тобою распахнут!

9

Слышишь ли ты? Да, я слышу
зеленый хор голосов,
радость древесных стволов.
Деревья поют:
— Мы больше не будем гробами,
хватит гнить в земле с мертвецами...
лес веселится:
— День избавленья настал. Смерти никто не боится.

Деревья еще не раз
на распил отдадут стволы.
Но сейчас
из них будут сделаны скрипки и свадебные шатры,
кровати молодоженов,
люльки новорожденных.

Оконные рамы — глядеть на восход,
надежные двери — уйти от забот,
стропила крыш — дождь не зальет.
Для жизни, не для могилы.

Смерть к нам дорогу забыла.

Слышишь ли ты? Да, я слышу:
ликованье земли,
чувствую зависть истлевших в пыли,
плачущих, недождавшихся,
слишком рано скончавшихся.

Новый день настает.
В теле любовь поет.
Снова девственно-чистая, словно до изгнания из Рая,
Наша Земля.
Сброшено бремя осени. Бремя могил, которые плоть ее изрывали.

Слышишь ли ты? Да, я слышу:
— Славьте Господа, Аллилуйя!
Сердце бьется, ликуя,
разум постичь пытается сущность Творения.
Воображения Божьего сущность живую!

Перевод с иврита Алины Лацинник

Томас Венцлова

К НЕРОДНОЙ РЕЧИ

* * *

Нам друзей покидать в городках небогатых пора,
Свет от лампы проводит нас, благословляя, к порогу.
Мы в ночи пропадем, и в Аукштадварис ляжет дорога,
Будут почва и небо, и сосны бежать до утра.

Да, пространство Твое так безмерно растет и плотнеет,
Ты нас делаешь ближе, все страхи с пути отводя,
Мне сужаешь зрачок, но становятся дали виднее,
Там, где тень от руки и где влажный брезент от дождя.

Поколение мое не с победой вернется, а с болью,
Пусть же самому лучшему хватит в его жизни недолгой земной
Вдоволь хлеба насущного с яркой небудничной долей,
Вдоволь соли насущной с такой долгожданной водой.

Пусть найдет меня голос его, ни с одним не сравнимый,
Искупленье неправды, беды и свободы струна.
Так глубокие Немана воды должны быть черны и сладимы,
Чтобы в них прямо к дельте плыла, отражаясь, луна.

1967

* * *

Недолго длилась передышка эта,
Но после всех лишений нам казалось,
Что счастьем вечным быть. В садах поэты
Делились рифмами, и сладко пировалось.

И мудрость воцарилась в наших школах,
 В аркадах раздавались звуки флейт,
 Гремели площади от ярмарок веселых,
 И пряности сгружались с кораблей.

Плоды на солнце созревали в сроки,
 Мозаик краски радовали взор,
 Но жалкие безумные пророки
 В который раз выигрывали спор.

Металл грохочет, и трепещут стены,
 Задуйте свечи и закройте дверь.
 Чернеют небо и морская пена,
 Идет чума, Калигула и смерть.

2016

У СТЕН КРЕПОСТИ

Раз уж так, говори. Но едва ль тебе хватит стихов,
 Чтоб заполнить все то, что впечатано в глину сознания.
 Там детали вещей ты найдешь и контрасты цветов,
 Океанские отсветы, совести увещеванья.
 Может быть, после смерти. Но лайнер скользит на шасси.
 Может, после ухода. Не стоит заканчивать фразу.
 За чертой горизонта и от серпантина вблизи
 Хаос крыш. Цитадель за воротами Гурдича сразу.

Так встречай же, встречай эти комья засушенных трав,
 Они катятся вниз к берегам, к городам безымянным залива.
 Гром неслышно проходит у моря, на цыпочки встав,
 Там где волны шлифуют каменистые склоны обрыва.
 Небо в тучах. Моторные лодки, взбесившись, опять
 Режут волны, с глубин средиземных песок доставая.
 Зеркала твои станут чужое лицо отражать,
 Но есть клавиши, лампа, словарь. Все сбылось, понимаю.

В этом жерле циклонов, на задворках Европы глухих,
Бог сюда ли привел или просто лихая судьбина,
Ты проникни во тьму, с ней сливаясь, как сотни других.
За чертой горизонта, за крышами, у серпантина.
Только клавиш мерцанье, и кто-то стоит за плечом,
Вечность меряет тело усталое в отблеске света,
Как бы ты ни старался, с начала уже не начнем.
Раз уж так, говори, ничего нет правдивей, чем это.

2020

К НЕРОДНОЙ РЕЧИ¹

*Себя губя, себе
противореча...*

Осип Мандельштам

Библиотеки, станции, вокзалы,
душа здесь крепла, тело замирало,
легло столетье черным покрывалом,
в коротких снах не становилось легче,
зал ожидания, где укрыться нечем,
сквозь сон я там учился этой речи.

Я чувствовал ее, как вкус во рту,
как меди горечь. Как обрыв в цвету,
манящий сразу вглубь и в высоту.
Так балансируя, себе противореча,
чужим внимая и своим переча,
учился этой речи.

¹ Имеется в виду русская речь. Стихотворение перекликается со стихотворением Осипа Мандельштама «К немецкой речи», из него взяты эпиграф и некоторые цитаты. (Прим. авт.)

Как соблазняла, как манила эта речь —
то ритмом переменчивым завлечь,
то в резких звуках слышалась картечь!
Весь жар предместий, колокол в селе,
и ледяные звезды в полумгле,
и то, что не отыщешь на земле.

Там Вакх с Кипридой пир продолжил свой,
струился пунша пламень голубой,
там, среди скал, ниспослана судьбой,
бурлит волна, свободна и жива,
нам обещав святыя острова,
согласными и гласными права.

Но вот слова отравую полны.
Так небо отвернулось от страны.
Плоды и всходы не сохранены,
и земледелец терпит свой урон,
с полей отчаявшись согнать ворон
глухих времен.

Не течь в камнях иссохшему ручью,
Словарь теряет выдержку свою.
Речь связана. И только на краю
есть старые наречия. Они
звучат в долинах, как в былые дни,
но мы одни.

И звуки слышатся с сырых болот,
звон каторги. А там — который год
окопы проклинаят небосвод.
То не золотая цепь на дубе том,
звенят оковы в воздухе пустом
на дне людском.

Господства лжи не поворачишь вспять.
Свирепых псов конвойных не прогнать.
Тирану веки тщетно поднимать,
под ними ночь. Стал кислород ипритом,
скользит звезда по небесам разбитым
вниз, к поколеньям, Господом забытым,
в презреньи жить им.

И лишь у праведника есть и дар, и милость.
Взор напряги. Он здесь. Уже свершилось.
Пока, обман перечеркнув рукою,
идет к нам с запрещенною строфою,
пока он видим, и он видит нас с тобою,
я с ним спокоен.

2023

Перевод с литовского Марины Войцкой

IN MEMORIAM



Петр Горелик

О ДАВИДЕ САМОЙЛОВЕ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Петр Захарович (Залманович) Горелик был удивительной личностью. Универсальный человек, renaissance man. Профессиональный военный, офицер, прошедший всю войну. Полковник, преподаватель оперативного искусства в военных академиях. С харьковского детства близкий друг Бориса Слуцкого и Михаила Кульчицкого, он был тонким знатоком, энциклопедистом поэзии. Он сам мне рассказывал как еще до войны в офицерском училище, стоя на карауле у знамени, шевеля губами, повторял стихи.

В близкой дружбе его со Слуцким и Давидом Самойловым (Дезиком) сыграло роль то, что они были совсем своими. Война, стихи, общая судьба. Отсюда и близкие приятельские отношения с Павлом Коганом, Межировым, Левитанским. И это в сочетании с проявившимся у Петра Захаровича писательским дарованием позволило ему в последние годы жизни в Ленинграде создать целый ряд важных статей и книг о своих выдающихся друзьях. Они стали важнейшим источником для изучения русской поэзии двадцатого века.

Еще одним дарованием Петра Захаровича и его замечательной жены Иры было органическое умение создать не столько литературный салон у них дома, на 19-й линии Васильевского острова, сколько круг друзей, выдающихся деятелей искусства. Эма — Наум Коржавин, старый друг, — приезжал из Америки, Георгий Товстоногов, Евгений Лебедев, Александр Володин, Зиновий Гердт. Список можно продолжать.

Для меня особенно важна и дорога данная публикация. Петр Захарович, «дядя Петя», сыграл важную роль в моем художественном формировании, познакомил с некоторыми большими поэтами, в том числе с Давидом Самойловым, ему я обязан нашими поездками к поэту в Опалиху.

У Самойлова немало знаменитых произведений, вошедших в золотой фонд русской литературы: «Сороковые роковые»,

«Пестель, поэт и Анна», поэма «Снегопад» и многие другие. Но, с моей точки зрения, своих глубин поэзия Дезика достигла в его поздних стихах, «Пярнуских элегиях»:

*И жалко всех и вся. И жалко
Закушенного полушалка,
Когда одна, вдоль дюн, бегом
Душа — несчастная гречанка...
А перед ней взлетает чайка.
И больше никого кругом.*

В размышлениях об этом появилось мое стихотворение:

ПОЗДНИЙ САМОЙЛОВ

*Когда уже допито все, докурено,
Набедокурено, нацедээлено,
Пристреляно, опалено, залатано,
Когда уже совсем и дела нет,
Когда свободен от любви с плакатами —*

*Гражданственность в чулане тлеет знаменем, —
Тогда литература стала мебелью,
Снега над Пярну вознеслись знаменцем
И легкие слова летят явлением,*

*Когда уже ослеп почти
И звук живет один в закрытом черепе.
Ты эту книгу до конца прочти.
Те строки, как в бутылке, чудным вечером
Плывущей по морям безверия.*

*Вот выдохнул совсем — и стало холодно
И пусто, словно сердце выдохнул,
Но беспредельно легче и светлее.
И спит поэт в гробу, ему положенном,
Словно солдат на отдыхе под елью.*

(Новый мир, № 10, 2007)

Горелик был ближайшим другом моего отца и моей семьи. Отец, в свою очередь, дружил и с Самойловым, и со Слуцким, и с Коржавиным.

Петр Захарович скончался в Петербурге в 2015 году в возрасте 97 лет.

Светлая память и благодарность этому выдающемуся человеку.

Андрей Грицман

Для ленинградского жителя я сравнительно часто бывал в Опалихе. Это были не кратковременные наезды; проведя день в московской командировочной суете, к вечеру, чаще вместе с Дезиком, я приезжал в Опалиху и оставался ночевать. Здесь я мог насладиться неторопливой беседой, которую так любил Дезик, оценить хлебосольство этого дома и радушие его хозяев.

Особенно запомнились выходы вдвоем на деревенскую улицу в тихие зимние вечера, когда под ногами хрустел снег, а в высоком морозном небе сверкали мириады звезд — зрелище недоступное жителю большого города. Чаще всего такие прогулки проходили в молчаливом переживании величия момента. (Такое же чувство печальной нерасторжимости с Вселенной я испытывал на фронте под Мценском, когда выходил из землянки и смотрел в темное звездное небо.) Каждый думал свою думу и не рисковал нарушить тихую сосредоточенность другого.

Но опалиховские прогулки запомнились не только этим. Для меня особенно дороги те, когда посчастливилось быть свидетелем творческих озарений идущего рядом поэта.

Одна из прогулок связана со стихотворением «Поэт и гражданин». Была лунная ночь, и, пока мы гуляли, появившийся месяц постепенно преображался. Глядя на меняющийся на наших глазах месяц, Дезик сказал, что нашел образное выражение масштаба времени, который искал для основной части стихотворения — трагической гибели пленного. И действительно, в окончательной редакции появился меняющийся месяц. Вначале: «...как рожок, бесплотный полумесяц / Легко висел на воздухе пустом». Затем: «плыл месяц налегке, / Но словно наливался». Потом: «Уже был месяц розов, как янтарь». И наконец: «...месяц

наверху налился / И косо плыл по дыму как ладья». Для несчастного пленного надежда сохранялась по мере того, как рос месяц в вышине. И жизнь его оборвалась, когда месяц «налился».

Тогда я лишь запомнил «масштаб времени» применительно к конкретному творческому акту. Глубоко осознать его значение для всей самойловской поэзии смог много позже, читая «Памятные записки». Самойлов ощущал время «главным конструктивным элементом всего сущего и, следовательно, стиха».

После Опалихи Самойловы купили дом в Пярну, ближе к морю — для детей, и подальше от Москвы — для себя. Их жизнь в Эстонии — отдельный большой сюжет. Здесь было написано самое значительное из того, что создал Давид Самойлов, здесь он написал и свою прозу.

Галя — человек умный, волевой, одаренный и вполне самодостаточный — сумела не только оградить Дезика от многих трудностей быта. Она постоянно поддерживала ту полноту отношений, которая способствовала преодолению периодически наступавших кризисов и спадов, неизбежных в жизни большого художника. Но, главное, она создала атмосферу духовного общения, в которой нередко высекались творческие озарения.

Я думаю, ей пришлось за это уплатить дорогую цену самоотречения, «наступив на горло собственной песне». Но она делала это во имя человека, которого считала «национальным достоянием и своим всем». Я привел эти слова из письма Гали (апрель 1986 года). В письме нарисован психологический портрет человека и поэта, живущего «по своим, установленным над собой законам». В этом портрете есть немало черт, которых я не знал, не заметил. Есть и такие, которые я готов оспорить. Правда, без особой надежды на победу в таком споре. Я не мог бы оспаривать Галино знание, противопоставляя ему лишь свое чувствование. И все же ее представление о душевных недугах Самойлова мне всегда казались сильно преувеличенными, так же как и его актерство. Мне трудно быть объективным: я слишком любил Дезика, слишком был покорен его обаянием, гордился близостью и дружбой с ним.

Пока я читал Галино письмо, мне хотелось спорить и защищать Дезика. Дочитав, я понял, что если и надо его защищать, то не от Гали; несмотря на некоторые преувеличения, о которых я писал выше, она не исказила портрет, но сделала его объ-

емным и живым. Искренность признания Дезика «своим всем» обнажает и искренность мотивов.

С Галей Дезику было хорошо. Он не раз откровенно признавался мне, что не представляет свою жизнь без нее. «С ней можно утром поговорить» — в его устах это звучало как высшая оценка. Об этом можно прочесть и в нескольких местах «Поденных записей»: «Галя меня глубоко и серьезно понимает. Наши с ней разговоры самые важные в жизни, ибо обобщают жизнь», «Каждый день интересные и важные по мыслям разговоры с Галей», «Очень хорошо с Галей. Она единственный человек, без которого я жить не могу».

Походя я обронил, что «их жизнь в Эстонии — отдельный сюжет». Но совсем уклониться от пярнуского сюжета невозможно. Мы с Ирой бывали здесь не только «по датам», общение с Дезиком и Галей каждый раз было для нас праздником. Это незабываемо.

Дом в Пярну, несмотря на удаленность от Москвы, так же привлекал сюда друзей, поклонников и учеников, как и дом в Опалихе. Летом друзья поселялись здесь семьями. Перед началом «сезона» на долю Гали выпадали тяжелые обязанности выполнения многочисленных «заявок». С приездом друзей и знакомых легче ей не становилось.

Утром Самойлов работал, редко бывал на пляже, купающимся я его не помню. Запомнились посещения эйнелаудов — небольших кафе, по размерам и предназначению напоминавших наши рюмочные, но гораздо более приличных по интерьеру и поведению посетителей. Эти посещения можно назвать ритуальными. «Один эйнелауд» как мера длины, провозглашенная Дезиком, стала уже общим местом в воспоминаниях о пярнуской жизни. В эйнелауде, за рюмкой коньяка, рождались мысли, высказывались идеи, на салфетке записывались строчки стихов.

К вечеру, после пляжа, общество собиралось под яблоней в саду, и беседы иногда продолжались до полуночи. Время летело незаметно, было и весело, и интересно, и глубоко. Посмеивались над тем, что за хлипким, дырявым забором, в нескольких шагах от стола под яблоней, находился местный КГБ.

От Пярну протянулись дорогие нам знакомства. Отсюда пошла наша дружба с Чистовыми — Беллочкой и Кириллом Ва-

сильевичем, здесь мы узнали приезжавшего из Риги Юру Абызова, здесь познакомились с Зямой Гердтом, Юлием Кимом, со старшими Стратановскими, здесь продолжилось наше знакомство с Володей Лукиным (с ним и с Юрой Диковым, молодыми учеными и близкими по духу интересными людьми, мы познакомились задолго до Пярну в Москве, в квартире Самойловых на Пролетарском проспекте). В Пярну завязались дружеские отношения с Борисом Петровичем Захарченей и его женой Русланой. К слову, академик Захарченя приобрел дом вблизи от Пярну не в последнюю очередь для того, чтобы быть поближе к Самойловым.

Подчеркивая свое уважение независимости Эстонии, в те годы, когда сами эстонцы еще об этом только мечтали, Самойлов говорил: «Мы гости на эстонской земле...» За 15 лет жизни в Пярну у него сложились тесные связи с эстонской культурой. Он много переводил с эстонского. Установилась и творческая дружба с лучшими представителями эстонской творческой интеллигенции. Бывая в Пярну, я встречал их у Самойловых, но это были мимолетные знакомства.

Запомнилось другое: круг дружеских связей в Пярну, известность и узнаваемость, выступления в школах и городской ратуше. Семьями Самойловы дружили с Перелыгиными, учителями местной школы. Виктор Перелыгин запечатлел жизнь Самойловых в Пярну в выразительных фотографиях; издал удивительный альбом со смешными автографическими подписями Самойлова под каждой фотографией. Вот образцы:

*Прекрасная семейка,
Родить ее сумей-ка.
(Вариант: Кормить ее сумей-ка.)*

.....
*Сидит Абызов на диване,
Как дядя Ваня в «Дяде Ване».*

.....
*Здесь я напоминаю Вале,
Где прежде вместе мы бывали.
А он напоминает мне
Рассказы о чужой жене*

(На фото — Валентин Никулин)

И таких фотографий и подписей более семидесяти.

Запомнились отношения с Иваном Гавриловичем Ивановым, фронтовиком, в котором Дезику разглядел литературные способности и взял над ним шефство. Он называл его «певцом своей жизни». Прозу Ивана Гавриловича печатали московские журналы.

Приезжали к Самойлову молодые поэты, но в ученики он брал очень избирательно. Однажды я показал Дезику стихи молодого ленинградского поэта, попросил помочь ему получить переводы. Стихи на Самойлова впечатления не произвели... Не давая оценки напрямую, он сказал: «Поэт — это не только талант и дар Божий, это — судьба и Божье наказание».

Просьба моего молодого протеже получить через Дезика переводы не случайна: Самойлов был известен как переводчик, и объем переведенных им стихов значительно больше его оригинальных текстов. Поэзия не могла материально обеспечить поэта, если он не был своим для власти, не был ею обласкан как, например, поэты-песенники, если его не переиздавали многотысячными тиражами. Поэт — уходил в перевод.

В тяжелые для Самойлова послевоенные годы он вынужден был делать «черную» работу. Официозную албанскую поэзию он не столько переводил, сколько создавал ее как таковую (поэма «Сталин» и т. п.). О такого рода работе говорил: «Надоевшие переводы, от которых сохнут мозги», «Как касторку глотаю переводы, по 60 строк в день».

Но в отношении к поэтам, которые были ему по душе, выбранным им самим, показал себя подлинным мастером перевоплощения. Не случайно его переводами открылась серия «Мастера поэтического перевода». Ему принадлежат переводы и для «Библиотеки мировой литературы». Эту работу предоставил ему (и Борису Слуцкому) наш общий близкий друг Борис Тимофеевич Грибанов, руководивший изданием «Библиотеки» в Гослитиздате. В своем кругу мы шутили, что Борис специально включил заказ новых переводов, чтобы поддержать Самойлова и других известных поэтов, которым грозила «долговая яма». Шутка шуткой, но не все было так просто и для самого Грибанова.

Некоторые переводческие замыслы Дезику не удалось осуществить: он мечтал перевести всего Франсуа Вийона и издать

его отдельной книгой (об этом не раз говорил мне). У него для этого было все — игра ума, мудрость, тонкая ирония, страстность и знание языка — не достало только времени.

Большую часть второй половины жизни, во всяком случае не менее двадцати лет, Дезик был почти слеп. Одним глазом он не видел совсем, другим — только очертания предметов. Толстые многодиоптрийные очки помогали мало. Помню, как в сердцах, по поводу зрения это бывало с ним крайне редко, сетовал, что «живет в четверть одного глаза».

Полуслепота наступила вскоре после неудачной операции в институте Гельмгольца, что не мешало Самойлову острить и посвящать институтским врачам экспромты чуть ли не на операционном столе (самое известное: «Бутылку вижу, но рюмку — нет».)

И все же до последних дней Самойлов не утратил способности восхищаться зримой красотой мира. Чувством красоты пронизана почти вся его лирика, а в некоторых стихах сформулировано и понимание красоты как непреходящей ценности жизни. Проникновенны строки о красоте подмосковной природы, о «синих, как небо и лед, глазах апреля», о «византийской нежности грузинских княжон»; осознание красоты мира примиряет со смертью Цыганова — героя одной из лучших поэм Самойлова.

Помню, как в июне 1980 года Дезик отмечал в Пярну свое шестидесятилетие. Приехали друзья из Москвы, мы с Ирой из Ленинграда, пришли пярнуские поклонники, те, с кем за годы жизни в этом городке сложились дружеские отношения. Празднование происходило за городом на берегу залива, на комфортабельной утопавшей в зелени райкомовской даче с богатой посудой, сауной и бассейном. Было изрядно выпито и закусано. На Тооминга, 4 (дом Самойловых в Пярну) веселье продолжалось. Поставили пластинку Окуджавы. Дезик внимательно слушал, и я почувствовал, как в нем произошла какая-то перемена. Казалось, он готов прослезиться от охватившего его чувства благоговения. Не помню, какие им были сказаны слова, но во мне окрепло убеждение в способности Дезика без зависти отнестись к таланту собрата по перу. Говорю «окрепло», потому что на протяжении многих лет общения с Самойловым он не единожды являл доказательства своего отношения к успехам других поэтов «без тени зависти и умысла худого».

Вспоминается 1965 год. Вместе с Ирой мы были в Шереметьеве, где Дезик жил у Окуджавы. Булат охотно пел. И в тот раз Дезик прослезился, так потрясла его глубина и философичность поэзии Булата, органичность текста и мелодии. Искренность его восприятия и отсутствие даже намека на зависть были для нас с Ирой совершенно очевидны. Не могу в связи с этим не привести строки из самойловской поэмы «Юлий Кломпус»:

*Тогда мы много пели. Но,
Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы.*

В подтверждение вышесказанному хочу привести и несколько строк из его письма: «Читал прекрасную книгу Бориса¹. Там только одно несправедливое стихотворение — о том, что друзья верили ему, а не в него... В книге Слуцкий выглядит очень крупным поэтом, очень самостоятельным и с тем „усилием“, которое не мешает выявлению содержания».

Кстати, об «усилии». В 1989 году у нас гостил приехавший в Петербург Эма Мандель (Наум Коржавин). Мы не виделись более пятнадцати лет со времени его вынужденного отъезда из России. Он провел у нас один из двух дней своего пребывания в Петербурге. Для нас встреча с Эмой была праздником души. «На Эму» к нам в тот вечер пришли наши общие с ним друзья — Шура Володин и Волик Рецептер, а также другие наши друзья, любившие и знавшие поэта Коржавина, — Лариса Иванова, институтская подруга Иры, и Беллочка Чистова.

Как говорится, «хорошо сидели». Говорили о жизни и, естественно, о поэзии. Вспоминали прошлое, Эма читал свои стихи. Не обошли в разговоре и Иосифа Бродского, недавно удостоенного Нобелевской премии. О его поэзии Эма высказался довольно резко в том смысле, что стихи Бродского слишком носят на себе «усилия стиля». По словам Коржавина, среди его стихотворений он находит едва ли три-четыре, которые могут быть отнесены к подлинной поэзии. Из этих трех-четырех я запомнил

¹ Самойлов пишет о книге: Борис Слуцкий. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1989.

только одно: «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» Нобелевский комитет, по мнению Коржавина, присудил премию скорее за факт биографии, чем за стихи. Как всегда, Эма говорил страстно и убедительно.

В очередном письме Дезику я написал о приезде Эмы и о наших разговорах. Вот что ответил Самойлов:

Эмка очень узнаваем. Хорошо, что ты описал его. Он человек высокого благородства и ума... В нем есть зажигаемость, духовная энергия, ум... я его очень высоко ставлю.

Насчет Бродского с ним не согласен. Думаю, что он, как многие, ревнует к нему Музу. «Усилия стиля» у Бродского происходят без усилий... У многих поэтов это усилие занимает столько сил, что на содержание их не остается. Таковы современные школы. Но в самовыдвижении поэзии эти усилия не пропадают даром. Как, к примеру, усилия Сельвинского. Все формальные достижения и есть то усилие, которое позволяет потом писать без усилий. Сами усилия идут в навоз. Но без навоза всходы бываю тощие.

А насчет Нобелевского комитета Эмка прав. Не будь шума вокруг Бродского, не видать бы ему премии. Тут просто так совпало, что премию присудили достойному. А бормотания Бродского вовсе не для доказательства своей гениальности, а от склада мышления, вполне не стандартного. Бродский ведь очень умен. Нет, не ошиблась гениальная Анна Андреевна!

Самойлов считал Бродского «достойным» задолго до решения Нобелевского комитета. На подаренном Бродскому в 1963 году сборнике стихов «Второй перевал» Самойлов написал: «Держитесь, Бродский, вы прекрасный поэт, и хлопот с этим делом хватит вам на всю жизнь». Как в воду глядел.

В тот приезд Коржавина я пытался вернуть ему самиздатский сборник стихов Коли Глазкова. На оборванной импровизированной обложке рукой Коли было начертано: «Стихи дать Эмке надлежит, книжка ему принадлежит и от него не убежит. Глазков». Сборник хранился у нас со времени ареста Коржавина в 1947 году. Эма отказался его принять: «Пусть останется у вас. Сборник принадлежит вам за давностью хранения». Лет десять

спустя я все же вернул сборник Глазкова Коржавину, но не раньше, чем опубликовал в «Арионе» историю того, как он ко мне попал, и два неизвестных стихотворения из сборника.

Мало что было так любезно Самойлову, как беседа. «Во мне есть радость общения. Эта радость передается людям, и потому они тянутся ко мне»¹.

Вспоминаю, как однажды в квартире Самойловых в Астраханском переулке прозвенел звонок, и я пошел открывать дверь. На пороге незнакомый человек с кейсом. Дезик тоже поднялся из-за стола, идет навстречу гостю. «Я Черниченко. Пришел познакомиться». Прошли в комнату. Юрий Дмитриевич достает из кейса бутылку коньяка, палку копченой колбасы и батон. «Знакомство» продолжалось до полуночи.

Мне, ленинградскому жителю, редко выпадала отрада оказываться свидетелем таких сцен, но знаю, что они случались довольно часто. Дезик рассказывал, что так к нему в Пярну пришел космонавт Георгий Гречко. С этого визита они подружились.

Для Самойлова не так уж много значили общественное положение или степень эрудированности собеседника. Не помню, чтобы он когда-нибудь дал понять, что хотел бы уклониться от разговора по причине «несоответствия» партнера. В любом обществе он не только мог казаться (артистическая жилка была присуща ему), но без всякой натуги воспринимался своим. Со слов Бориса Грибанова, который вместе с ним был в творческой командировке под Харьковом, известно, как близко был принят Самойлов тамошними рабочими лесхоза. Здесь сказывалась не только его воспитанность, но, главным образом, интерес к человеку, его демократизм. Ему не было необходимости подделываться под уровень собеседника: не только он был интересен лесорубу или профессору, но и они были интересны ему. Я не рискнул бы утверждать, что профессор был ему интереснее лесоруба. «Беседа с достойными людьми одно из величайших моих удовольствий. Но кто достойные!» — писал он в «Поденных записях».

¹ Давид Самойлов. Поденные записи: в 2 т. Т. 1. М.: Время, 2002.

Демократизм Самойлова сказывался и в одежде. Любил одежду простую, удобную, больше всего свитер, работать садился в халате. Даже на творческих вечерах в больших аудиториях часто появлялся в свитере. О себе в галстуке на поэтическом вечере говорил как о «сенсации среди любителей поэзии».

В конце 70-х годов попросил меня прислать ему армейские сапоги. Сапог у меня в тот момент не было, и я послал ему крой на сапоги. Он меня поблагодарил за «сапожный товар». «Давно, — писал он, — я не испытывал такого удовольствия и чувства исполняющейся мечты. Я уже вижу себя в сапогах и широких штанах лилового цвета, в них вправленных. Это достойный костюм провинциального лирика... У меня всегда было стремление создать литературное направление. Но мешало отсутствие формы. Сапоги и штаны вполне заменяют мне манифест школы и, в общем, являются формальным принципом, которого мне не хватало. Эта одежда намекает на умеренную почвенность и военный дух. Неумеренная почвенность — это лапти и армяк. Возможно, что по моему примеру Куняев их наденет. Так что вполне вероятно, что сапоги могут произвести некоторое движение в литературе, цена которому — „товар“ плюс пошивка, т. е. вполне доступная».

Шутка шуткой, но в последние годы его действительно можно было встретить на улицах Пярну в длиннополой лиловой куртке, картузе такого же цвета и вправленных в сапоги брюках.

Во мне, в моем сознании и в моей памяти, Самойлов-поэт и Самойлов-друг неотделимы. Я называю его другом не только по самоощущению, но и по взаимному чувствуванию. Право называть себя другом он предоставил мне сам. На книге, подаренной мне в 1972 году, он написал дорогие для меня слова: «Пете — другу, одному из одного...»

Зная Самойлова более полувека, я всегда сравнивал его с Пушкиным. Конечно, речь не идет о его месте и значении в русской поэзии и судьбе России; речь о строе личности, о духе, отразившемся в его творчестве, о постоянной игре ума, страстей, воображения; речь о его пушкинской легкости, сочетающей глубину и мудрость с иронией, юмором, шуткой. Для Самойлова, как и для Пушкина, осмысливать, а нередко пародировать

историю и развивать «вечные» сюжеты было наслаждением, сравнимым с любовью к общению и любовью к женщине.

Давид Самойлов умер 23 февраля 1990 года. Его внезапная смерть ошеломила и потрясла. Смерть оказалась последним творческим актом, осветившим весь его путь.

О его смерти можно без преувеличения сказать: он умер как солдат на боевом посту. Смерть пощадила Самойлова на войне, оставив лишь рубец после тяжелого ранения, но догнала его в момент, когда поэт выполнял свой гражданский долг перед русской поэзией и памятью великого гражданина России — Бориса Пастернака. Самойлов умер на сцене таллиннского русского драматического театра, во время организованного им вечера, посвященного столетию великого поэта, «духовная близость с которым росла в нем год от году» (Андрей Немзер). Открывая вечер, Самойлов произнес блистательное слово о Борисе Леонидовиче. Оно оказалось его последним выступлением.

Печальные минуты кончины зафиксировала в своих воспоминаниях Татьяна Александровна Правдина — жена Зиновия Гердта. «Зал <театра> был набит битком... После выступления Дезика (так всегда звали Давида Самойлова не только друзья, но и близкие знакомые. — П. Г.) выступали музыканты, певцы, артисты. Потом вышел Зяма, прочитал „Февраль“, еще что-то. Из зала попросили: „Гамлета!“ Едва начал: „Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку...“ — за кулисами раздался какой-то шум. Гердт обернулся, но продолжил: „Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен...“ — но тут шум стал совсем громким, на сцену выбежала женщина с криком: „Давиду Самойлову плохо! Доктор... скорей“. Мы с Галей (Галина Ивановна Медведева — жена Самойлова. — П. Г.) выскочили из четвертого ряда и побежали за кулисы. Доктор... вбежал вместе с нами. Дезик лежал с закрытыми глазами на полу в гримерке. Над ним склонился Зяма. Доктор щупал пульс. Галя склонилась над Дезиком, и он вдруг открыл глаза и даже как-то спокойно, выдохнув, сказал: „Ребята, все, все... все в порядке“. И опять закрыл глаза... Теперь уже навсегда.

Последние его слова были словами оптимиста, он успокаивал близких, и, может быть, даже скорее всего, не думал о кон-

це. Сердечные недуги давали знать себя и раньше. Но если эта мысль явилась ему в последний момент, он мог вспомнить строки из своего пронзительного стихотворения:

*Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле...*

Сцена таллиннского драматического театра оказалась для Давида Самойлова полем битвы. Он мужественно сразился не только с мракобесием толпы, поддержавшей несколько десятилетий до того гонения на Пастернака, но и за торжество русской поэзии. На этом поле он чувствовал себя счастливым. Он по праву мощно заявил о себе:

Мне выпало счастье быть русским поэтом...

Прах Самойлова покоится на Лесном кладбище эстонского города Пярну.

Петр Горелик родился в 1918 году в Харькове. Советский военачальник, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов, преподаватель оперативного искусства в военных академиях Ленинграда. Писатель-мемуарист, специалист по творчеству Бориса Слуцкого и Давида Самойлова. Скончался в 2015 году в Санкт-Петербурге.

Семен Гринберг**ИЗБРАННОЕ**

Семена Гринберга, ушедшего от нас, принято считать «недооцененным поэтом». Что это значит? Недооцененным кем? Современными ему критическими обзорами? Комитетами и жюри литературных премий? Составителями школьных и университетских хрестоматий?

Не знаю, не знаю. По моему опыту, любой мало-мальски понимающий в стихах человек попросту не может с первых же нескольких строчек не оценить масштаб его дарования, его уникальную интонацию, его особенный словарь, вобравший в себя всю огромную толщу русского языка — от церковно-славянских окончаний до израильского «русита»; не может не поразиться яркости неожиданных, по ходу дела отпущенных метафор, сочетанию разговорной речи с внезапно внедренным «высоким штилем» и поразительно уместными вкраплениями явных и неявных культурных кодов и литературных цитат.

Гринберг был и останется большим поэтом, который монополюно разрабатывал свою и только свою ниву — без вторичности и заимствования, без перепева чужих мотивов; останется певцом своих и только своих песен, живописцем своих и только своих картин. Например, такой, московской:

*Я вышел за полночь и посмотрел окрест.
На площади, где Юрий освещенный
Над нею водрузил свой долгорукий жест,
Мужик, издавля похожий на бочонок,
Вблизи торчал, как позабытый шест.
Просеменили мне наперерез
Две запоздалицы — барашек и козленок...
Метро закроют! — времени в обрез.
Водителем троллейбус оснащенный
Катил по заводу ненаселенных мест.
Последний спутник нынешнего дня,
Ни слова вымолвить, ни осушить стакана,
Он подберет и уведет меня
От бронзовых коленок истукана,
Руки простертыя и ног его коня.*

Только взгляните на этот текст — на его многослойность (от пушкинского медного истукана до последнего троллейбуса Окуджавы), на его внезапные словосочетания (долгорукий жест Долгорукого, две запоздалыцы, оснащенный водителем троллейбус, заводь ненаселенных мест), на свободное и поразительно уместное использование архаики (заполночь, окрест, водрузил, осушить, простертыя) — такое уникальное сочетание можно отыскать лишь у него, у Семена Гринберга.

А вот, уже годы спустя, в Иерусалиме:

*То ли в Устныя Торе или Рут Мегилат,
То ли было взаправду или так говорят,
Возвращалась Наоми из Моава в Эфрат,
А Бейт-Лехем — сплошные мечети.*

*И пришла, поднялась на вершину холма,
И смотрела на город красивый весьма,
Где возвысился новый квартал Ар-Хома
И сновали еврейские дети.*

*Дело прошлое, много воды утекло,
Что ни год отступает Кинерет,
Баклажаны не шекель, а два пятьдесят за кило
И стреляют везде, а не только в районе Гило.*

Разве это не прекрасно? Где еще вы увидите такое редчайшее сочетание прошлого с будущим, души с местом, неба с землей, танахических Имен со старорусскими словами, которые обретают в соседстве с ивритом какие-то новые, невиданные значения и смыслы?

В стихах Гринберга дышит эпоха — и не только в стихах.

Несколько лет тому назад Семен Гринберг выпустил (совместно со своим некогда московским, а ныне берлинским другом Александром Лайко) книгу под названием «Выбранные места из переписки друзей». Книга вышла малым тиражом и разошлась по друзьям и знакомым в Израиле и в Германии, то есть тоже, видимо, относится к категории «недооцененных». Читается, однако, захлеб (я проглотил за день).

Эпистолярный жанр редко трогает по-настоящему — но только не в этом случае, где, как и в стихах, видны масштаб личности, своеобразный талант, прекрасная работа со сло-

вом — и, как результат — непререкаемое уважение и высокая оценка со стороны тех, кто действительно понимает.

Назвать ли его после всего этого «недооцененным»? Не знаю, как у кого, а у меня язык не поворачивается. Надеюсь, что Судья Праведный, перед лицом которого стоит сейчас большой поэт Семен Гринберг, придерживается такой же точки зрения.

Алекс Тарн

* * *

Вдоль ограждения бензоколонки
 (Навстречу, кто в Хеврон, Бейт-Лехем ли на Рождество)
 Иду себе опавшею листвою,
 Когда приблизилось лицо благородной негритянки
 С пучком над головой.
 Кто краше женщины всегда темноволосой,
 Напомнившей цветок?
 Шоссе перебегают овцы
 Движеньями похожих ног.
 Слов не достанет рассказать, куда иду за ними.
 Туда ли, где бывал и был,
 Пил воду, чистил апельсины,
 И между дольками и долями чужими
 Искал свою и находил.

* * *

Я побывал тут пару лет назад,
 И ничего с тех пор не изменилось
 В обличье белокаменных жилищ,
 Ну, разве что трава поверх оград,
 Напоминая долгополый плащ,
 Просунулась, перевалилась.
 И повернул еще. Фалафельная Шая
 Была уже открыта, но пуста.
 Вошла с любимой надписью ШАЛОМ
 На месте, так сказать, наперсного креста
 Красивая и молодая
 И разместила ноги под столом.

* * *

Стакан, нет, два стакана красного вина —
Часть натюрморта на стене конторы.
Не знаю, кто его таким красивым написал.
Стол, освещенный солнцем из окна,
Покрытый белой тканью, на котором
На блюде баклажановый овал.

Помимо этого и прочих овощей:
Чилийский перец, лук, маслины, помидоры,
Стеклянный таз грибов (похоже, мухоморы),
Стоящий просто так, я бы сказал, ничей.

Еще кувшин цветов. И женская рука,
Что обошла кругом и все предусмотрела,
И до всего коснулась слегка,
А после канула, как и лицо, и тело.

ОДНОГОДКИ

Еще один ушел. А в общем, всякий раз
Припоминал, как по Москве шатались,
И женщины преследовали нас,
В том смысле, что повсюду попадались.

Прелестницы, в одеждах колдовских,
Умелицы походки грациозной,
Встречались в самых неожиданных местах,
В скульптурных, скажем, мастерских,
Что были в церкви Троицы в Листах
На Сретенке у площади Колхозной.

* * *

Е. Ф.

Все стало новое — и люди, и страна.
 Теперь припоминаемы едва,
 Поцарствовали Пригов с Рубинштейном.
 Советский был Союз, пришла ему хана,
 Потом и «молодость ушла с ея портвейном»
 И чем-то там еще благоговейным...
 Хваленье молвившей сии проникновенные слова.

* * *

С. С.

Пока мы пили, выпал первый снег.
 Почти от Белорусского вокзала
 Сплошным, пушистым, белым укатало
 Весь ленинградский, так сказать, проспект.

И пух небесный был над головой,
 Кружа и опадая постепенно.
 Ажурный дом в начале Беговой,
 За коим шли кирпичные дома,
 Казался необыкновенным,
 Чудной была и улица сама.

По ней до Хорошевского шоссе
 Я знаю, бегала с косичками, как все,
 Которая моей могла бы стать женою.

На этот счет совсем в иных местах
 Бреду и рассуждаю сам с собою,
 И поневоле наблюдаю, как
 С пригорка, где намусорили ели,
 Сползает облако к монастырю Креста.
 Над местом, где почил известный Руставели,
 Мерцает силуэт трамвайного моста.

* * *

Приснилось мне, что мне приснился сон.
Во сне, который первый, настоящий,
Был стол накрыт на несколько персон
И я сидел со всеми наравне,
И вышел, как бы выразиться проще,
И постоял, приблизившись к стене.

И поднял голову. Полночное светило
Посередине купола светило,
Цикады опадали на траву,
Все шевелилось и происходило
Как наяву.

***Семен Гринберг** родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1990 году. Автор нескольких поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Интерпоэзия», «Иерусалимском журнале». Умер в 2025 году в Иерусалиме.*

